

А. Бовшек

ГЛАЗАМИ ДРУГА
(Материалы к биографии
Сигизмунда Доминиковича Кржижановского)

Всю мою трудную жизнь
я был литературным небытием,
честно работающим на бытие.
С. Кржижановский

КИЕВ

I

Киев. 1920 год. Я иду по улице вдоль сплошной стены снега и выбеленных инеем деревьев. Огромные сугробы на тротуарах и мостовой стоят неподвижно, терпеливо дожидаясь первых теплых лучей солнца, чтобы, превратившись в шумные водные потоки, заявить о приходе весны. На улице мало прохожих, еще меньше проезжих. Изредка слышится тревожное цоканье копыт, проносится одинокий всадник или целый отряд конных. По тому, как выглядят всадники: в широких красных штанах, с оселедцами на головах и с пиками наперевес, в черных мохнатых шапках или в серых шинелях и фуражках с пятиконечной звездой,— можно определить, чья власть в городе: петлюровцев, белых или красных. Сейчас в Киеве большевики и относительный порядок.

Проходя мимо дверей консерватории, я замечаю прибитое четырьмя гвоздиками небольшое печатное объявление:

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ КОНСЕРВАТОРИИ.
СЕМИНАРИЙ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ МУЗЫКИ
А. К. БУЦКОГО.

С. Д. Кржижановский

Чтения и собеседования по вопросам искусства
6 чтений первого цикла

1. Четверг 1 марта Культура тайны в искусстве
2. Понедельник 5 Искусство и «искусство»
3. Четверг 8 Сотворенный творец (И. Эригена)
4. Понедельник 12 Черновики. Анализ зачеркнутого
5. Четверг 15 Стихи и стихия
6. Понедельник 19 Проблема исполнения

Чтения будут проходить в зале консерватории. Начало в 8½ вечера.
Абонементы на все чтения 500 рублей.

О Кржижановском, его лекциях, выступлениях по вопросам музыки я слышала не раз. Все говорили: интересно. В самом деле, объявленный цикл любопытен. Надо послушать; если можно, познакомиться с лектором; но у меня нет пятисот рублей, необходимых для покупки абонемента, и не предвидится скорой полочки. Можно бы зайти в консерваторию, там почти наверно встречу кого-нибудь из знакомых, кто за меня поручится, но я поздно вышла из дому и теперь спешила к назначенному часу в наробраз, куда была вызвана на совещание. Сегодня там решался вопрос о польском театре: организацию его предлагала известная польская актриса С. Э. Высоцкая. Я уже кое-что знала о ней, видела ее в Москве, когда она приезжала к Константину Сергеевичу Станиславскому побеседовать с ним, познакомиться с основными положениями его «системы» и режиссерским методом. Она не раз приходила на занятия студии театра, особенно в те дни, когда их вели Константин Сергеевич или его талантливый ученик Евгений Багратионович Вахтангов. Очень высокая, статная, прямая, с правильными чертами крупного лица и низким, грудным голосом, она походила на рисунки с изображением римских матрон. Казалось, что именно такой должна быть трагическая актриса. Очувтившись случайно в Киеве и не имея возможности вернуться на родину — в Польшу, она тосковала без любимой работы и задумала создать здесь польский театр.

Когда я вошла в комнату наробраза, там уже собралось человек двенадцать. Среди присутствовавших — мой бывший преподаватель театральной школы Владимир Владимирович Сладкопевцев, талантливый автор и исполнитель юмористических рассказов. Встретившись со мною в Киеве, он взял меня под свое покровительство и нередко называл мою кандидатуру для выполнения заданий, связанных с жизнью театра и театральных школ.

Высоцкая докладывала о характере будущего театра, о плане работы. В Киеве не было польских актеров-профессионалов, труппа должна была состоять из любительской молодежи. Спектакли будут на русском языке, но репертуар исключительно польский: пьесы Словацкого, Выспянского.

Начались высказывания. Сидевший рядом со мной Сладкопевцев указал мне на высокого, слегка сутулившегося человека в зимнем пальто, большой шапке, закрывавшей пол-лица, и сказал — это Кржижановский. Разглядеть Кржижановского было трудно, тем более что он сидел в темном углу. Не разглядела я его и тогда, когда ему было предложено высказаться. Не поднимаясь с места, он заметил только, что высоко ценит поэзию Словацкого, талант Высоцкой, большой актрисы, но от суждений о возможной судьбе театра отказывается, не имея данных о труппе и ее подготовке к классическому репертуару.

Высоцкая просила дать ей помещение для театра и выделить некоторую сумму денег на содержание труппы и оформление декораций.

На совещании решили дать ей помещение и командировать человека для знакомства с составом труппы, планом работ будущего театра, но от денежной субсидии пока воздержаться. Сладкопевцев и на этот раз подвел меня, предложив поручить мне задачу ознакомления с новым делом. Я чувствовала себя недостаточно опытной и достойной для выполнения возложенного поручения. Высоцкой вряд ли могла понравиться моя кандидатура, но мне хотелось поближе познакомиться с замечательной актрисой и режиссером; к тому же в те дни не принято было отказываться от заданий.

Через два дня я уже сидела на репетиции, заняв место в партере и стараясь быть как можно меньше замеченной. Это было нетрудно: Высоцкая, не видя никого из посторонних, с увлечением рассказывала исполнителям о будущем спектакле, любимом писателе, давала характеристики персонажей его пьесы. Репетировали «Балладину» Словацкого. Должно быть, моя молчаливая почтительность и внимание к работе примирили Высоцкую с возложенной на меня официальной ролью, и на третий день она предложила мне взять на себя главную роль в «Балладине». Роль была не в моих данных, и я, не доверяя себе и попросив Высоцкую прослушать меня, прочла ей из еврейских мелодий Лермонтова: «Скорей, певец, скорей, вот арфа золотая». Она выслушала молча, но, должно быть, что-то во мне ее заинтересовало, так как она повторила предложение сыграть «Балладину», на этот раз настойчивее и теплей.

В течение месяца мы с небольшими перерывами вели работу, но положение театра не улучшалось. В труппе не хватало актеров, никто не получал платы, стиль Словацкого — польского романтика — плохо воспринимался современной молодежью. Воспитанные в традициях русской реалистической школы, молодые исполнители не могли удовлетворить требованию режиссера. Чтение стихов просто убивало. Театр распался. Вскоре после того, как последние польские части, хозяйничавшие в стране, покинули Киев, Высоцкая вернулась в Варшаву, основала свою студию, а позднее заведовала драматическим отделением консерватории.

В те дни начинания, подобные польскому театру, возникали одно за другим, как грибы после веселого летнего дождя. Некоторые были интересны и полезны, другие фантастичны и нелепы. В наробраз то и дело приходили с увлекательными предложениями. Там терпеливо выслушивали прожектеров, иногда помогали помещением и людьми, но денег не давали. Страна терпела разруху, в домах не топили, в магазинах не торговали, связь с Москвой была слабой. Поезда ходили редко, от случая к случаю. Работа держалась на энтузиастах и энтузиазме.

II

Каждая литературная новинка, проникавшая из Москвы в Киев, вызывала огромный интерес. Ее списывали друг у друга, читали, спорили. Особенно волновали имажинисты, но не потому, что нравились. Непонятны были истоки и цели их поэтических исканий; стихи вызывали недоумение и искусственным построением образов, и совершенной оторванностью от жизни. В конце двадцатого года в Киев попала поэма Блока «Двенадцать». Замечательное произведение всех взволновало. Только и разговоров было, что о поэме. Ярче, лучше нельзя было отразить то смятение духа, тот порыв в неизвестность, ту жажду священного безумия, которые так свойственны были стихии революции. Хотелось без конца повторять вслух, петь простые и в то же время насыщенные дыханием жизни строки:

Черный вечер. Белый снег. Ветер, ветер.
На ногах не стоит человек —
Ветер, ветер
На всем божьем свете.

Со мной незадолго до того произошел один случай, который теперь все приходил на память, особенно при чтении стихов: «А Катька где? Мертва, мертва... Простреленная голова».

Выйдя однажды рано утром из парадной двери во двор, я заметила шагах в двадцати перед собой какую-то скорченную фигуру. Во дворе была большая круглая клумба, обнесенная невысокой узорной чугунной оградой. Фигура лежала, упершись головой в ограду. Подойдя ближе, я увидела, что это была женщина в ситцевом с разводами платье и небольшим платком на плечах. Лежала она неподвижно, голова откинута назад, ноги согнуты в коленях, у спины небольшая лужица крови. Не было сомнений в том, что в женщину стреляли и, вероятно, в спину. Лицо молодое, красивое, с правильными чертами, какие часто встречаются у украинок, очень спокойное, почти благостное. Пока я стояла над трупом, не зная, что предпринять, подошли еще две-три женщины, а там собралась и небольшая толпа.

Смерть в то время мало кого трогала, никто не торопился разыскать убийцу, а в адрес женщины сыпались и лестные, и нелестные замечания. «Это Ленка из прачечной. Догулялась», — только я и узнала. Но образ этой молодой несчастной женщины не выходил из головы. Он как-то странно сливался с ритмом стихов: «Черный вечер, белый снег... И опять идут двенадцать, за плечами ружьца...»

Я и раньше любила Блока, но сейчас он стал мне особенно близок, я благодарна была ему за открытие в себе нового восприятия эпохи. Понятно поэтому, как я обрадовалась, когда живший в то время в Киеве литературовед

Александр Осипович Дейч предложил устроить совместно литературный вечер, посвященный Блоку. А. О. брал на себя вступительное слово, а вся поэтическая часть отводилась мне. Программу я составила из любимых мною стихов и включила в нее поэму «Двенадцать».

Была ранняя весна, цвели каштаны, было тепло, радостно и в то же время немного страшно: я впервые выступала с целым отделением, предшественников-чтецов у меня не было, и я не знала, выдержит ли публика сорок пять — пятьдесят минут слушанья стихов. Вся надежда моя возлагалась на поэму. В нее я верила больше, чем в себя. Я хотела, чтоб ее услышали, узнали, приняли.

Литературные и музыкальные вечера в те дни посещались охотно, и надо отдать справедливость их организаторам: программы составлялись ими интереснее, чем в нынешние дни. Жажда знаний казалась ненасытной. Все чему-то учились, хотели что-то переделывать, открывать новое. За стеклами окон всюду можно было видеть при свете солнца или коптилки группы людей, слушающих, записывающих, жадно хватаящих на лету то, что им преподносили многочисленные руководители.

И наш вечер, вечер Блока, как и следовало ожидать, собрал многочисленную аудиторию. Прошел он с большим подъемом. Во время чтения поэмы «Двенадцать» в зале стояла та особая тишина, когда уже нет барьеров между слушателями и исполнителями.

По окончании вечера А. О. подвел ко мне очень высокого, худого, слегка сутулящегося человека с бледным нервным лицом и сказал: «Сигизмунд Доминикович Кржижановский хочет поблагодарить вас».

Кржижановский молча пожал руку. Было еще светло, когда закончился вечер. Время было переведено на два часа вперед, но после девяти часов вечера запрещалось хождение по улицам.

К счастью, оказалось, что нам с Кржижановским по дороге: я жила у Золотых ворот, он — на Львовской, несколькими кварталами дальше.

Теперь, когда прожита долгая трудная жизнь, можно, оглядываясь назад, выбрать из нее наиболее значительные события, печальные и радостные.

Мне и тогда было очень хорошо, а сейчас кажется, что то был один из лучших дней в моей жизни. Я жила в дни великих ожиданий, небывалого общего подъема, я впервые перед аудиторией читала Блока, притом гениальную его поэму, читала как настоящий художник, со мною рядом шел человек, о котором я уже не раз задумывалась, человек, которого я еще не знала, но значительность которого и обаяние я уже ощущала. И странно, несмотря на как будто отпугивающую замкнутость и отчужденность этого человека, хотелось ему довериться.

Кржижановский был довольно популярен в Киеве как лектор. Он часто выступал в театре, в консерватории с вступительным словом к музыкальным программам, говорили, что он блестящий оратор с большой эрудицией, мыслящий смело и оригинально. По дороге я с некоторым стеснением расспрашивала его о предстоящих выступлениях, он отвечал неохотно, спросил меня о моих планах. Я тоже не распространялась, так как не знала, буду ли выступать в дальнейшем с концертами. В это время я преподавала практику сцены в студии бывшего Соловцовского театра и Театральной академии. Мое выступление в тот вечер было случайным. Разговор оборвался. Некоторое время шли молча — и вдруг как-то случилось, что оба заговорили об одном и том же и тут же решили дать совместно ряд литературных вечеров. Выбор тем я предоставила Кржижановскому и пригласила его завтра же зайти ко мне договориться подробно о работе. Исчезло стеснение, стало легко и говорить, и молчать. Мой спутник отпускал меткие остроумные замечания о людях и предметах, встречавшихся на пути, я от души смеялась. У ворот моего дома расстались как хорошие знакомые.

III

На следующий день ровно в двенадцать часов Кржижановский сидел у меня в комнате за столом. Он вообще всегда был точен и аккуратен во времени, в одежде, в работе. При дневном свете он показался мне еще худей и бледней, чем накануне. Все мы жили тогда в голоде и холоде, и похвалиться полнотой никто не мог, но его худоба и синеватая бледность лица казались болезненными. Большинство выступлений были бесплатными. Несколько позже, когда жизнь стала налаживаться, за выступления стали платить натурой, то есть крупой, мармеладной пастой и другими продуктами. В таких случаях исполнители — члены бригады честно делили между собою «натуру». Но пока приходилось очень трудно. К сожалению, в моем хозяйстве не оказалось ничего, кроме яблок, подаренных мне одной из моих учениц, только что вернувшейся из деревни. Яблоки были огромные, сочные, красные. Мне кажется, что я в течение всей последующей жизни таких чудесных яблок не видала. У них была своя история. Моя ученица возвращалась из деревни на тендере паровоза. Поезд в пути остановили какие-то бандиты, пробовали отнять у нее яблоки, а ее посадить с поезда, но храбрая девушка под защитой кочегара выдержала нападение и привезла в Киев драгоценную ношу.

Кржижановский, получивший от меня яблоко, впоследствии подсмеивался надо мной, утверждая, что я действовала методом Евы. В то утро мы договорились о первой литературной программе: Саша Черный и Андрей Белый.

Этих поэтов я мало знала и потому попросила разрешения достать книги и познакомиться с ними. Кржижановский объяснил мне свой замысел и основные положения доклада. Мне надо было согласовать с ним отобранный материал. Поэты были мне не очень близки, но я страстно хотела, чтобы вечер прошел удачно, как в конце концов и произошло. Очень важным событием для меня было укрепившееся в процессе работы над этой программой знакомство с молодым композитором, с человеком разносторонне образованным и замечательным организатором Анатолием Константиновичем Буцким. Он вошел в наш вечер в качестве пианиста, так как Кржижановскому казалось, что включенные в программу «Сарказмы» Прокофьева помогут раскрыть тему.

Успех привел к тому, что был объявлен цикл литературных вечеров, получивший название «Сказка-складка». А. К. стал нашим неизменным участником и даже предоставил для концертов зал в помещении Государственного музыкально-драматического института, директором которого он к тому времени был назначен.

Первый вечер цикла мне был особенно дорог.

Это была сказка Адальберта Шамиссо «Чудесная история Петера Шлемиля». В сказку я сразу влюбилась. Меня волновал ее философский смысл, мастерское развитие сюжета, трагическая биография автора. Исполнительская задача была трудной: я впервые читала прозу, читала наизусть два с половиной часа. Сигизмунд Доминикович в процессе работы помог мне разобраться в философском и политическом значении сказки, в ее стилистических особенностях. На вечере он великолепно рассказал о Шамиссо и его трагической судьбе, и хотя сюжет сказки был не связан, или, вернее, лишь отдаленно связан, с революционной действительностью, аудитория реагировала бурно.

Впоследствии мы несколько раз повторяли сказку, а однажды в каком-то учреждении даже получили за нее три миллиона. Чувствуя себя несказанными богачами, мы возвращались домой по тихим, пустынным улицам Киева, все трое держались за руки. На небе была полная луна. Набежавшая туча ее обволокла, но один луч прорвался сквозь облачную ткань. Он падал как-то странно, прямо на нас и некоторое время шел за нами. Буцкий запрокинул голову и, глядя вверх, сказал: «Как знать, может, это душа Адальберта Шамиссо». Нам хотелось поверить в эту чудесную нелепость, ведь мы были так недавно в сказочной стране, и мы радостно подхватили: «Ну да, конечно».

Праздник закончился пиршеством. Буцкий указал на одно оконце в первом этаже на Рейтарской улице. Он знал, что тут продаются пирожные. Мы постучали, оконце отворилось, показалась голова старика, обменявшего нам три миллиона на три «наполеона». Эта была поистине чудовищная растрата.

Во время литературных концертов я обычно слушала первое отделение, то есть вступительное слово Кржижановского, желая войти в настроение, глубже понять автора, которого предстояло исполнить. Постепенно от раза к разу у меня составилось представление об особенностях Кржижановского как лектора, о методе подачи материала и приемах воздействия на аудиторию. Он всегда мыслил образами и силлогизмы строил из образов. Дав ряд впечатляющих образных построений, он обрывал цепь их, предоставляя слушателям самим делать вывод. Тут надо было торопиться следовать за ним, не упустить подсказываемый вывод. Возможно, что не все, о чем он говорил, доходило до слушателей, но он их беспокоил оригинальностью мыслей, образов, заставляя думать и после того, как они покидали зал. Беседуя с аудиторией или читая лекцию, он не переходил с места на место, жест его был скуп, но выразителен, особенно выразительны кисти рук, белые, с тонкими длинными пальцами. Обладая великолепной памятью, он никогда не пользовался выписками, а цитировал целые страницы наизусть. Повторять одну и ту же лекцию он не мог, постоянно внося момент импровизации. Голос низкий, слегка приглушенный, богатый обертонами, казался насыщенным волевым посылом и увлекал слушателей неожиданностью интонаций.

Александр Яковлевич Таиров, слушавший его много, позже, не раз говорил, что по силе воздействия на аудиторию Кржижановский напоминал ему Жореса, хотя между этими двумя ораторами было мало общего. Думаю, что секрет воздействия Кржижановского на аудиторию заключался в страстной сосредоточенности его мысли, влюбленности в тему и, конечно, мастерстве.

IV

Знакомство с Анатолием Константиновичем, постепенно переходившее в дружеские отношения, дало мне возможность узнать некоторые подробности о жизни Кржижановского, вообще не любившего говорить о себе.

Буцкий был прирожденным опекуном, он постоянно о чем-то хлопотал, о ком-то заботился. Медлительный в движениях и речи, он в то же время был легок на подъем и попевал всюду, где требовалось его присутствие. Большие круглые глаза под роговыми очками смотрели чуть насмешливо и, казалось, спрашивали: «Ну как? Все в порядке?»

С Сигизмундом Доминиковичем он был знаком уже несколько лет. Высоко ценя его интеллектуальные и нравственные качества, он в то же время относился к нему несколько покровительственно и был озабочен его материальным неустройством.

— Человек без профессии. Вы понимаете, у него нет профессии,— повторял он мне.

Профессия у Кржижановского была, но он с ней расстался. По окончании гимназии он поступил в университет на юридический факультет, одновременно прошел и весь курс филологического факультета. Был назначен помощником присяжного поверенного при Киевском окружном суде. По поручению своего патрона защитил несколько мелких дел, вложив в них свою обычную страстность и проявив недюжинные способности. Волной революции смыло весь старый государственный строй, а с ним и законы. Кржижановский легко расстался со своей профессией, так как все силы и внимание в то время уже отдавал литературе и писательскому опыту. В результате двух летних образовательных поездок за границу, побывав в Швейцарии, Франции, Италии и Германии, он написал два путевых очерка об Италии, напечатанных в «Киевской мысли». В юношеском журнале «Рыцарь» появилось стихотворение «Бригантина» и, наконец, в первом номере журнала «Зори» за 1919 год уже вполне зрелый рассказ «Якоби и „якобы"».

О Сигизмунде Доминиковиче Буцкйй говорил всегда охотно. От него я узнала, что Кржижановский киевлянин, родился и воспитывался в польской католической семье. Его отец, Доминик Александрович, прослужив недолго на военной службе и выйдя в отставку, поступил бухгалтером на сахарный рафинадный завод, где проработал тридцать пять лет. По оставлении службы, он получил полагавшуюся ему небольшую сумму денег, которую употребил на покупку дома на Демпевке. В этом доме и проживала семья Кржижановских. Мать, умная, добрая женщина, всецело преданная семье, была хорошей музыкантшей. Она любила играть, знала все сонаты Бетховена, часто исполняла Шуберта, Шумана, Шопена. Должно быть, ей Кржижановский был обязан музыкальностью. В юношеские годы у него обнаружился хороший голос — баритональный бас. Некоторое время он брал уроки у известной в Киеве преподавательницы Кружилиной, занимавшейся с ним бесплатно и даже подумывавшей об оперной карьере для своего ученика.

Кржижановский был младшим ребенком в семье и единственным сыном. К матери он относился с величайшей осторожностью, нежностью и впоследствии, когда мы стали ближе друг другу, рассказывая о ней, часто с живостью повторял: «Фабиана... не правда ли, какое красивое имя Фабиана Станиславовна?»

Из четырех сестер старшая, Станислава, уже в то время была известной актрисой, выступавшей под фамилией Кадмина на ролях героинь в крупных провинциальных городах. Впоследствии, в советские дни, она получила звание заслуженной артистки и была награждена орденом Ленина.

Средняя — Елена, красивая, очень женственная, болезненно хрупкая, — несмотря на разницу в годах, дружила с братом. С ней одной в семье ему было хорошо, и ей одной онверял свои юношеские планы и мечты. Она была замужем за полковым командиром, уехала сестрой милосердия на фронт в ту часть, в которой он сражался. Муж был убит. Потеря любимого человека и трудные условия жизни привели к тому, что притушенный было туберкулез снова вспыхнул и она вскоре умерла. Две другие сестры — Юлия и Софья — жили своими семьями, были очень далеки от брата, не искали с ним встреч и совершенно его не понимали. Брат отвечал им взаимностью, то есть равнодушием. «Кровное родство, — говорил он, — это еще не родство. Надо выдержать экзамен на родственника».

Как это часто бывает в жизни, одна беда приводит за собой другую и одна смерть открывает дорогу другим смертям. За последние три-четыре года Кржижановский потерял отца, мать, сестру и дядю — брата отца, Павла Александровича. Смерть последнего была для него большой моральной утратой. Дядя видел в молодом человеке нечто отличавшее его от других юношей, ценил его ум, разносторонние способности. У Павла Александровича была небольшая усадьба под Киевом с прекрасным садом, в котором разводил редкие сорта роз. Он вообще был опытным садоводом-любителем, выписывал книги, вел переписку с другими садоводами, давал консультации. В семье Кржижановских его любили и приезды его встречали с радостью: дядя вносил в дом живую струю. Мать, всегда чем-то опечаленная, не получившая удовлетворения в замужестве, в его присутствии оживлялась, молодела, смеялась.

Усадьбу и какую-то сумму денег дядя завещал племяннику, но от его щедрот остались лишь старый деревянный письменный стол, попавший в печку и давший иззябшим людям немного тепла, да чесучовый пиджак. В весенние и летние дни этот пиджак бесменно служил Кржижановскому. Должно быть, дядя был довольно полным, так как пиджак висел на племяннике, как на вешалке, подчеркивая его худобу.

V

Несмотря на трудные условия, холод и голод, культурная жизнь в городе крепла, развивалась, принимая широкий размах. Уже Марджанов показал в драматическом театре замечательную постановку Лопе де Веги «Овечий источник». Уже прошли вечера древней литературы, средних веков, Возрождения, немецких романтиков; прозвучали Шекспир и Шиллер, отмечены юбилеи Франциска Ассизского и Данте.

Наши концертные выступления принимались рабочей, красноармейской и интеллигентской аудиторией с все возрастающим интересом и успехом. В них участвовали такие мастера, как Генрих Густавович Нейгауз, обычно с блеском исполнявший «Половецкие пляски» Бородина, певица Караулова, чудесная исполнительница партии Шамаханской царицы из «Золотого петушка», певцы из оперного театра и другие. Мне всегда боязно было смотреть на изыбшие руки молодого Нейгауза. Он играл в перчатках с отрезанными пальцами. До выхода на сцену все сидели в зимних пальто, шапках, ботах и валенках, но выступали перед публикой в строгих парадных платьях, стараясь придать концерту праздничный, торжественный характер.

В театральных школах молодежь бурлила, мечтая и споря о новом театре, новых пьесах и постановках. Приходилось менять привычный театральный школьный репертуар. Психологические драмы, тонкие переживания никого не интересовали. Захватывали пьесы с революционным содержанием, яркие комедии с острыми ситуациями. Система Станиславского номинально еще существовала, но утратила свою сущность. Оставался этюдный метод, но характер этюдов, их содержание и исполнение были иными.

Я с удовольствием вспоминаю свою постановку фарса «Адвокат Патлен». В работе мне помогала одна из моих учениц, Вера Строева, тогда уже обнаружившая режиссерские способности и смелую выдумку. Небольшого роста, с огромными быстрыми глазами, очень легкая в движении, она попевала всюду, где намечалось что-нибудь интересное, зажигая товарищей рассказами о последних новостях в художественной жизни города.

Кржижановский преподавал в Государственном музыкально-драматическом институте имени Лысенко и в еврейской студии. У молодежи он пользовался популярностью и любовью. Его лекции посещали не только студенты, но и заинтересованные слушатели со стороны.

Однажды в еврейской студии была получена партия кем-то пожертвованной одежды и обуви. Сигизмунду Доминиковичу предложили подать соответствующее заявление. Он написал: «За лекцию о Глинке прошу ботинки, за подход с литературной стороны — штаны». Перед отъездом в Москву ему удалось получить в студии еще и демисезонное пальто, очень поношенное, неопределенного цвета, но зато по росту.

VI

Несмотря на то, что политическую жизнь города лихорадило, наробраз не снижал активности. Но задания его часто носили неожиданный, аварийный характер, что, конечно, сказывалось на качестве выполнения их.

Участие в одном таком задании стоило мне напряжения, о котором я и сейчас вспоминаю не без волнения. Мне предложили выступить в бывшем Соловцовском театре в большом концерте с чтением революционного стихотворения поэта Казина. Вручили мне стихи за день до концерта. Об отказе не могло быть и речи: моя фамилия стояла на афишах, писанных от руки и расклеенных по всему Крещатику. А между тем я привыкла готовить исполнение произведения загодя, хотя бы за два дня, и потому не доверяла своей памяти, не говоря уже о беспокойстве за качество работы. Наступил вечер... Я на сцене перед переполненным залом, произношу с трепетом первую строчку: «Я медный вопль тревоги...», за ней вторую, третью и вдруг теряю рифму, за исчезнувшей рифмой исчезает весь текст. Меня охватывает ужас, хочется самой исчезнуть, провалиться сквозь пол. Кровь приливает к корням волос. Не знаю, что делать. Уйти? Продолжать? Но что говорить? И тут меня осенило, какая-то сила подхватила, я начала импровизировать — очень нескладно, но с какой-то непостижимой силой, убедительностью, какой в себе до сих пор не подозревала. Помню, что часто повторяла строчку: «Я медный вопль набата... Вам... бам, бам». Вероятно, это длилось несколько секунд. В сознании с удивительной ясностью возникла третья строка, а за нею и весь текст. Я начала все снова. Охватившее меня волнение придало исполнению яркую выразительность и силу. По окончании зал бушевал от аплодисментов, криков, требований повторить. А я, добравшись до кулис, почувствовала, что ноги меня не держат и что меня подхватили чьи-то услужливые руки. Придя в себя, я с трудом добралась домой и тут же, не раздеваясь, повалилась в постель и крепко заснула. На другой день встретивший меня Дейч спрашивал: «Говорят, вы вчера потрясающе читали. Что такое вы читали?» Пришлось открыть правду о причине успеха.

Очень напряженная работа с постоянно меняющимся репертуаром привела к тому, что я совсем потеряла сон. Меня устроили в первый открывшийся к тому времени дом отдыха в Киево-Печерской лавре. Так же, как и я, в Лавре жил известный литературовед — специалист по Достоевскому профессор Чиж с женой. Жена жаловалась на отсутствие удобства в Лавре, плохое питание и все увеличивающееся нервное расстройство мужа. Через три дня они уехали. Я осталась одна на весь дом в предоставленной мне огромной комнате со сводчатым потолком и стенами такой толщины, что в оконном проеме могла поместиться двухспальная кровать. Из Лавры выехали и высшие духовные чины, и администрация: осталось несколько не знавших куда себя определить монахов. Они обычно показывали редким посетителям пещеры, усердно посещали службы в церкви и выполняли задания по хозяйству.

Навсегда запомнился мне один монах. В черной длинной рясе, с огромной черной гривой волос, с черными пылающими глазами, он клал поклоны с не-

истой дикостью, как будто и впрямь был одержим злым духом и тщетно пытался изгнать его из себя. Он падал на пол так, как пловцы бросаются в воду,— широко распластывая руки, бился головой о каменные плиты пола, затем с таким же неистовством вскакивал и снова падал.

С пещерами я познакомилась впервые. Они произвели на меня тяжелое, горько-обидное впечатление. Страшно было за силу человеческого духа, отданную религиозному безумию и изуверству. Какая жестокая нелепость. На земле все сияло радостью. В широких кронах деревьев шумела зеленая листва. Днепр спокойно катил свои синие воды, воздух звенел от птичьего гомона, а человек уходил под землю в вечный мрак и глухое молчание. И делал это во славу Бога.

Хотя Лавра расположена довольно далеко от города, меня навещали, иногда приносили кое-что из еды.

Приходили и Буцкий с Кржижановским. Я как-то пожаловалась им на то, что в первые два-три дня я с непривычки всю ночь просыпалась от звона чудесных мелодичных курантов Лавры: они отзванивали каждые четверть часа. Кржижановский написал об этих курантах стихотворение «Восемь звонов восходящих, восемь звонов нисходящих». Буцкий положил его на музыку. Это было единственное стихотворение, услышанное мною в те киевские годы. Говорили, что Кржижановский пишет стихи, но никому не показывает и не любит говорить о них.

Только после смерти Сигизмунда Доминиковича, разбирая его архив, я нашла две тетради его юношеских стихов. Очевидно, это была проба пера, тщательная подготовка к предстоящей литературной работе. Впоследствии С. Д. пользовался стихотворной формой только при переводе зарубежных поэтов и для своих оперных либретто: «Поп и поручик», «Суворов», «Фрегат „Победа“». В стихах ранних лет чувствуется влияние таких поэтов, как Александр Блок и Саша Черный. Вполне оригинален и интересен небольшой, из восьми стихотворений, цикл «Философы». Каждому философу отведено особое стихотворение, в котором автор пробует перевести на язык образов сущность системы данного философа.

И влияние таких разных поэтов, как Блок и Саша Черный, и цикл «Философы» очень показательны для понимания творческих путей Кржижановского, для понимания пережитого им кризиса в процессе самоопределения и окончательного выбора профессии. Цикл «Философы» явился мостом, переброшенным от абстрактного мышления к образному, от философии как науки к искусству, к художественной литературе.

В Киеве С. Д. знали как интересного лектора, преподавателя, широко и разносторонне образованного человека, но, по словам Буцкого, человека без профессии. Между тем именно эти последние годы его жизни в Киеве были

началом литературной жизни. Именно в эти дни в Киеве рождались и созревали его маленькие философские новеллы, которые три года спустя он объединит в сборник «Сказки для вундеркиндов».

VII

Когда проходишь в жизни полосу, насыщенную большими событиями и яркими впечатлениями, нет времени и желания задерживаться на анализе их. То же бывает и при встрече с исключительными людьми. Кржижановский был таким исключительным явлением, и не хотелось задумываться над разгадкой его личности. Все же совместная работа над литературными программами, частые встречи, мирные беседы и споры понемногу открывали некоторые черты его характера. Привлекало необычайное благородство натуры, скрытая, сдержанная страстность, чувство собственного достоинства в соединении с исключительной скромностью. Благородство сказывалось и в высоком строе мыслей, и в тонком понимании искусства, и в отношении к окружающим. Наделенный от природы острым, цепким, критическим умом, хорошо эрудированный, он в общении с людьми, в беседах и спорах никогда не высказывал своего превосходства, боясь обидеть, унижить собеседника; всегда терпеливо, с уважением относился к чужому мнению, к чужим мыслям.

В то же время он не допускал и малейшего проявления насилия в отношении себя и других, в чем бы это насилие ни выразилось — в области мысли или быта. Так же нетерпим он был к лжи и несправедливости. Лицо его, сохраняя наружное спокойствие, мгновенно бледнело, глаза и губы вспыхивали острым, уничтожающим огнем. У него были тонкие нервные губы, чувствительные к смене настроений и всех оттенков душевных движений,— настоящий барометр души.

Обычная доверчивая, внимательная улыбка вдруг исчезала, острые зрачки глаз и губы вспыхивали, выдавая иронию, горечь, насмешку, боль обиды и ненависть возмущения. И плохо приходилось тому, кто вызывал это возмущение. У Кржижановского был хорошо подвешен язык, и он не боялся говорить правду кому бы то ни было. Удары его были сокрушительны и неотразимы.

Разбирая архив, я среди заметок, афоризмов, планов, зарисовок нашла небольшой бумажный лоскут с такой автохарактеристикой:

Я сдержан, но чувствителен к обиде;
Я скромн, но себе я знаю вес,
Я переменчив, но и *semper idem*,
Я терпелив, но терпелив в обрез.
Должно быть, у меня на то похоже:
Под внешней кожей — две-три скрытых кожи.

Вероятно, эти строки появились много позже. Жизнь ломала человека, вела по извилистым путям, требуя действий, поступков, меняя характер, сообщая ему сложность и противоречивость, но некоторые из отмеченных черт проступали уже в те годы. Тревожила уже тогда чувствительность к обиде, граничившая с мнительностью. Вспоминается такой случай. Мы шли теплым весенним вечером по Николаевской улице. Нам достали билеты на симфонический вечер: в помещении бывшего театра оперетты на Меринговской исполнялась симфоническая поэма Чайковского «Франческа да Римини». Мы шли и спорили о том, на котором слоге словах итальянского языка стоит преимущественно ударение. Я утверждала, что на третьем с конца и надо произносить да Римини, а не да Римини. С. Д. не соглашался; тут я вспомнила, что почти все названия дней недели звучат именно так, как я говорила: *lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica*.

Заговорили о недавно состоявшемся вечере, посвященном Данте. Кржижановский делал вступительное слово, Нейгауз играл Листа «Après la lecture de Dante», я читала третью песнь из «Божественной комедии», историю Паоло и Франчески. Вечер удался, и было приятно вспоминать о нем. Впереди нас шли два молодых человека. Они оживленно о чем-то спорили, широко размахивая руками. Один из них посреди фразы внезапно обернулся, скользнув по нас взглядом. Кржижановский, вспыхнув, остановил его требованием: «Повторите, что вы сказали. Нет, повторите, что вы только что сказали». Я стояла в стороне и не слышала объяснений молодого человека, но, должно быть, они были настолько невинны и искренни, что все трое рассмеялись. Кржижановский извинился, все пошли своим путем. Я так и не узнала, о чем шла речь. Некоторое время С. Д. шел молча, смущенный своей вспышкой. Но то был хороший вечер, и все было для нас и за нас. У ворот стояла женщина с огромной охапкой только что срезанных веток белой сирени. С. Д. купил у нее чудесную пахучую ветвь с большими тяжелыми гроздьями, вручил мне. Сирень была махровая, в каждом цветке было больше лепестков. Не надо было искать счастья: оно смотрело из каждого цветка. Я объяснила С. Д., как ищут счастье. Он улыбнулся.

— Что же, это хорошее предзнаменование, — сказал он уже совсем весело.

Когда мы вошли в театр, зал был уже заполнен. В большинстве это были красноармейцы. Во время исполнения симфонии они сидели тихо, с серьезными важными лицами, выходили из театра осторожно, чуть не на цыпочках, точно уносили в себе что-то, что боязно было растерять. Я наблюдала их и думала: неужели это те самые красноармейцы, что ободрали и унесли всю бархатную обшивку в театре, что делали самокрутки, разрывая на части листы бесценных книг? Что это, культурный сдвиг или в душе каждого человека лежит чувство красоты, жажда светлого, чистого?

VIII

Двадцать первый год шел к концу. Гражданская война утихала. Уже никто не сомневался в том, что постоянные хозяева города — большевики и что за ними будущее всей страны. Редкие набеги банд, так же быстро исчезающих, как и налетавших, все же мешали городу справиться с разрухой. Дома по-прежнему не отапливались, единственное тепло зимой шло от маленьких железных печурок буржук, полки в магазинах пустовали в ожидании товаров, и население несло свои пожитки, остатки белья, предметы домашнего скарба на Бессарабку в надежде продать или обменять на продукты. На этом красочном и жестоком рынке по-прежнему величественно восседали на возах с сеном полногрудые, краснощекие «жинки» в цветастых платках. Они с наигранной небрежностью осматривали, щупали руками товар и, глядя куда-то в сторону, назначали цену или, отводя рукой предлагаемый предмет, так же величественно произносили: «Не треба».

Но жизнь шла своим чередом, постепенно стабилизируясь. Стали выдавать на паек муку, восстанавливался транспорт, налаживалась связь с Москвою. Редкие приезжие из Москвы рассказывали о новых достижениях революции, новых течениях в театре, в искусстве, в театральной жизни, волнуя, будя и укрепляя мечты о возвращении в столицу. Буцкий и Сладкопевцев решили ехать в Ленинград. Я наметила отъезд в Москву, приурочила его к первому весеннему месяцу — марту. С Сигизмундом Доминиковичем расставались ненадолго. В конце марта собиралась ехать в Москву еврейская студия всем своим составом, с преподавателями и студентами. Они обязались доставить в Москву и Кржижановского.

Друзья помогли мне получить билет в пассажирском поезде. По тому времени это было очень трудно. Со мной был небольшой чемодан с вещами, книгами и мешок муки — мой паек за два месяца.

Расставаться с местом, где прожита часть жизни, исполненная тревог, волнений, радости, творческих исканий, где оставались друзья, оставался прекрасный город с его тополями и каштанами, великолепным Днепром, Владимирской горкой,— было грустно. Ехать в Москву после пятилетнего отсутствия в ней было боязно. Кто оставался там из друзей? Все ли они живы? Как встретили они революцию? Но сила сильнее горести разлуки и страха перед возможными бедами толкала вперед. Вместе с опасениями поднималось и захлестывало чувство радостного любопытства, веры в возможность лучшей жизни для всех, а значит, и для меня.

В пассажирском вагоне ехала я только до станции Броворы — совсем недалеко от Киева. Тут пассажирам сказали, что в нашем вагоне загорелась ось, велели всем выйти и дожидаться товарного поезда, который нас должен по-

добрать. Прождав на морозе шесть часов, мы наконец погрузились в теплушку и через двое суток, промерзшие, голодные, усталые от бессонницы, въехали в Москву.

МОСКВА

I

В Москве я остановилась у известной киноактрисы и моего друга Ольги Ивановны Преображенской. Мы вместе служили в одной драматической труппе, сблизилась и с тех пор не теряли друг друга из виду. Она была старше меня, опытней и часто давала советы полезные и в работе, и в театральном быту. Ольга Ивановна и муж ее Владимир Ростиславович Гардин приняли меня тепло. Они жили на Раушской набережной в том доме, где сейчас гостиница «Бухарест». Работали в совсем еще молодом, но уже много обещавшем советском кино.

Поначалу Москва произвела на меня не то впечатление, какого я ждала. Она и радовала, и в то же время вызывала недоуменную растерянность. И не потому, что после тихого Киева ошеломляла шумным разнообразием жизни, пестротой множества начинаний, многолюдством уличного движения, магазинами с долгожданнами товарами. Вероятно, пугало отсутствие привычной стабильности, неустойчивость нового быта, только искавшего и не всегда находившего для себя нужную форму.

В конце марта приехал в Москву с еврейской студией и Кржижановский. Надо было начинать битву за жизнь, отвоевывать свое право на место под московским небом.

При отъезде из Киева друзья Сигизмунда Доминиковича снабдили его несколькими письмами к москвичам. Визит к Бердяеву с первым письмом оказался неудачным. Из беседы выяснилось, что и философские, и политические позиции Н. Бердяева так же шатки, как и самое его пребывание в Москве. Второе письмо, к профессору Авинову, открыло Сигизмунду Доминиковичу двери дома этой семьи, но что-то и тут удержало его от закрепления знакомства. Он решил не повторять бесполезных хождений. Оставшееся, третье, неиспользованное письмо надолго застряло в боковом кармане его пиджака.

Однажды, когда он сидел в малой аудитории университета, слушая доклад профессора Иванцова, пустили по кругу лист, на котором присутствовавшие должны были поставить свои фамилии. Расписавшись, он передал лист сидевшей влево от него женщине в скромном темном костюме с серьезным, строгим лицом. Она подписалась: Северцова. Именно к ней и было адресова-

но третье письмо. Людмила Борисовна тут же прочла письмо, познакомила С. Д. с мужем Алексеем Николаевичем и предложила пройти после лекции к ним на чашку чая. Дом Северцовых и в жизни С. Д., и в моей сыграл очень значительную роль.

Здесь, в этом доме, мы встречали таких замечательных ученых, как Вернадский, Зелинский, Ферсман, Ольденбург и других. Здесь мы впервые слушали доклад о расщеплении атома, познакомились с новыми научными сообщениями.

Алексей Николаевич, большой, грузный, похожий на сказочного медведя, неизменно любезный и приветливый, как большинство профессоров, смотрел на искусство несколько свысока: «Что ж, милое, приятное занятие, но можно жить и без него». Нас это не смущало и не огорчало: он был настоящим большим ученым, можно почудить и покапризничать. Это было тем более простиительно, что он все же любил литературу, любил слушать сказки, фантастические истории, всегда просил меня что-нибудь почитать, только не очень жалостное, да и сам грешил: в свободные часы рисовал. Из-под его пера выходили болотные черти, лешие, какие-то чудовища: звери не звери, люди не люди, речные омуты, причудливые деревья. Рисунки он дарил даже не на память, а просто так, не зная куда девать. С окружающими был прост, обходителен, но, сохраняя некоторую важность, часто любил повторять: «Мы, воронежские дворяне...» Дальше следовал какой-нибудь непередаваемый, с хорошим чувством юмора, рассказ из собственной жизни или богатой приключениями жизни его замечательного отца.

В студенческие годы Людмила Борисовна была его ученицей, вышла за него замуж после смерти его первой жены. Научной работы не оставляла. Некоторые из ее трудов по бактериологии были переведены за рубежом и получили там признание. Она была его секретарем, сопровождала всюду в командировках по Советскому Союзу и за рубежом, переводила его труды на иностранные языки, после его смерти написала его биографию для серии «Жизнь замечательных людей».

По годам она была много моложе А. Н., подходила к нашему возрасту и искала сближения с нами.

«Добрый, простой, милый человек»,— говорил о ней С. Д. Для него она сразу же нашла комнату. Было введено положение о десятипроцентной норме. Каждый дом должен был сдать в свой Райжилотдел десять процентов жилой площади. О получении ордера нечего было и мечтать. Предлагаемая ею комната была без мебели, маленькая, в шесть метров, числилась за графом Коновницыным и не состояла на учете. Граф не просил за нее денег, но предлагал брать у него платные уроки английского языка. Условия оказались приемлемыми, и Кржижановский недолго думая перетащил свои вещи по

адресу: Арбат, 44, квартира 5. Уроки продолжались недолго; граф был стар, вскоре заболел и умер; графиня переехала на другую квартиру.

По приезде нового жильца комната стала приобретать жилой вид. Появились деревянная койка с волосяным матрацем, простой некрашеный стол с двумя ящиками, перед ним кресло с жестким сиденьем, на противоположной стене полки с книгами. Самодельная скатерть и одеяло из кустарной материи покрыли стол и постель. Несколько фотографий по стенам и две акварели с подписью: «М. Волошин» дополняли более чем скромное убранство комнаты. В таком виде она сохранилась до самых последних дней жизни Кржижановского.

По инициативе Людмилы Борисовны и благодаря ее связям администрация ЦЕКУБУ (Дома ученых) предложила С. Д. провести совместно со мной цикл литературных вечеров. В этот цикл вошли киевские программы и вновь подготовленные. Выступления имели значительный успех и расширили круг наших знакомств.

II

Живую радостную струю в жизнь первого московского года внесло знакомство и работа с театральной молодежью, объединившейся вокруг Григория Львовича Рошала. Это знакомство состоялось благодаря стараниям уже любимшейся нам по Киеву и приехавшей почти одновременно с нами Веры Строевой. Свойственное ей стремление быть там, где намечается что-нибудь интересное, и острое «чувство нового» привели ее в группу Рошала. Репетировали какую-то комедию Мольера, предполагали создать свой театр. Сигизмунд Доминикович читал ребятам лекции, беседовал о Мольере, его эпохе, комедии — словом, обо всем, что требовалось знать в процессе работы. Метод у Рошала был свой, особый, отличный и от системы Станиславского, и от системы, широко применявшейся в те дни в молодежных студиях и известный под названием «биомеханика».

Театр не удалось создать, но большая часть из ребят рошалевской группы впоследствии заняла командные посты в качестве режиссеров и ведущих актеров. В группе занимались: Окунчиков, Колесаев, Сажин и др. Сам Рошаль и Вера Строева, увлекшись блестящими перспективами молодого советского кино, отдали ему все силы юности и опыт зрелости. Ряд постановок этих крупных мастеров вошел в золотой фонд кинематографического искусства.

Вере Строевой, ее умению находить интересных людей мы обязаны были и знакомством с Яхонтовым.

III

Кржижановский был страстным путешественником. В пути он оживлялся, шагал уверенно, бодро, высоко откинув голову и глядя куда-то вдаль. Перед отъездом в незнакомую страну он тщательно изучал географию, историю этой страны, ее городов, исторические места, памятники, а если путь лежал за пределами родины, то и язык народа. Перед приездом в Москву он не проделал нужной подготовки и решил брать город немедленно: приступом, с бою. Времени у него было достаточно, и он, не щадя подошв своих единственных и без того обветшалых ботинок, шагал по Москве, проделывая по пятнадцать-двадцать километров из конца в конец. Москва ему нравилась, нравился и процесс ее освоения. Он с радостным увлечением рассказывал о ее достопримечательностях и курьезах.

Возникла мысль дать несколько очерков. Газета по его просьбе прикомандировала к нему фотографа. В результате появились «2000» (улиц), «Московские вывески», «Уличные фотографы», а несколько позже большая статья с философским обобщением наблюдений «Штемпель „Москва“». Напечатанная в журнале «Россия», она принесла автору не только солидный гонорар, но и хорошее знакомство с редактором Лежневым.

Обилие московских впечатлений не отвлекало Кржижановского от литературной работы. Он пишет рассказы «Собиратель щелей», «Чудак», «Автобиография трупа», пополняет сборник «Сказки для вундеркиндов» маленькими новеллами.

Это было время больших планов, больших ожиданий, веры в свои силы и упорного, упрямого труда. Он вообще был трудолюбив, хотя и считал себя отъявленным лентяем; позднее в письмах постоянно жаловался на неспособность работать, длительные паузы, перерывы, даже отвращение к работе.

Творческий процесс каждого художника имеет свои особенности, можно воспитывать в себе те или иные способности, но нельзя насиловать самый процесс.

С. Д. мог легко с разгону написать в два-три дня шесть печатных листов, а потом неделями страдать от невозможности выжать из себя хотя бы одну строчку. А между тем именно в эти изводившие его так называемые «творческие пустоты» он не переставал вынашивать в себе замыслы, не отдыхая ни минуты. Голова его работала и тогда, когда он, лежа на диване, смотрел широко раскрытыми глазами куда-то вдаль, и тогда, когда шагал по московским улицам, и когда тихим вечером, сосредоточенный, ушедший в себя, сидел на скамье какого-нибудь бульвара.

Сюжет ложился на бумагу только после того, как был продуман, выстрадан, определена система образов, найдена композиция, отысканы нужные

слова, отточены фразы. Вначале он писал от руки, но постепенно выработалась привычка к диктанту; ему необходимо было мыслить вслух, воспринимать текст в звучащем слове. Сам он не только не владел машинкою, но даже никогда не думал о приобретении ее для личного пользования.

Его нередко приглашали читать свои рассказы, и он читал много, часто, всюду, где только проявлялся интерес к нему. Одно время было даже модно «приглашать на Кржижановского».

Завязывались знакомства, устанавливались дружеские связи.

IV

Как-то мой большой друг режиссер Камерного театра Леонид Львович Лукьянов попросил у меня для прочтения «Сказки для вундеркиндов». Спустя несколько дней при встрече он сказал: «Знаете, эти маленькие новеллы Кржижановского хороши, даже замечательны. Из него выйдет большой писатель. Я не удержался, рассказал содержание некоторых сказок Таирову: Александр Яковлевич загорелся желанием познакомиться с автором. Нельзя ли это устроить?»

Первые же встречи Кржижановского с Таировым надолго определили их взаимоотношения, с начала внимательные, затем теплые, дружественные.

Таиров был известным режиссером, создателем своего собственного театра — Кржижановский неизвестным начинающим писателем, но что-то влекла этих разных людей друг к другу. Таирову нравилось своеобразие дарования Кржижановского, упрямство в достижении намеченных целей, стойкость под ударами бесчисленных невезений, или, как он шутил их называл, «невезятин». С своей стороны, Кржижановский уважал Александра Яковлевича не только как режиссера с большим вкусом и фантазией, но и как художника принципиального, всегда отстаивавшего свои позиции, сохранившего за своим театром название Камерного, несмотря на все невыгоды такого названия и «советы свыше».

Постановка трагедии Расина «Федра» с Коонен в главной роли была в те дни высшим достижением в театральном искусстве. До сих пор не могу забыть первого выхода Федры. Высокая, прямая, в длинном греческом хитоне, спадающем мягкими складками, Коонен шла очень медленно, как если бы каждое движение стоило ей нечеловеческих усилий. И вместе с нею выходил на сцену самый дух трагедии.

Как большой художник, Таиров не мог не чувствовать дыхания революции, не мог не восторгаться героикой современности, гуманностью выходивших декретов, размахом планов строительства, но драматургия тех дней его

не удовлетворяла. Он был бесконечно счастлив, когда ему удалось получить для своего театра первую подлинно художественную пьесу, отразившую пафос революции: «Оптимистическую трагедию» Вишневского. И он первый ее поставил, и поставил с присущим ему мастерством. Положение его было трагическим: понимая и принимая революцию и современность, он так и не сумел отразить эпоху в своем творчестве. Репертуар театра, высокохудожественный, оригинальный, не отвечал требованиям актуальности, и спектакли у широкой публики не имели успеха.

В первую же встречу Александр Яковлевич предложил Кржижановскому прочесть курс лекций по истории искусства в недавно открывшейся школе — так называемых Государственных экспериментальных мастерских. Позднее курс истории искусств был заменен курсом русской литературы. Занятия со студентами шли все годы вплоть до закрытия театра.

Внимание Таирова к Сигизмунду Доминиковичу росло, с годами переходя в трогательную, почти нежную заботливость о нем.

Когда однажды Кржижановский попал в трудное положение, Таиров заволновался: «Кто ваш главный враг? Скажите. У меня все-таки есть связи... может...» — «Нет, Александр Яковлевич, не может, и ничто не поможет. Мой главный враг — я сам. Я тот пустынный, который сам для себя медведь».

V

1924 год. Январь месяц принес стране весть о горестной утрате: скончался Владимир Ильич Ленин. После незабываемых — трагических в своем величии — дней и ночей прощания жизнь, казалось, потекла своим порядком. На поверхности все шло, как шло, но в сознании людей появилась едва ощутимая трещина.

Москва по-прежнему шумела, суетилась, куда-то неслась... Иногда она представлялась мне огромной веселой каруселью, наподобие той, которую я видела в детстве, когда отец водил нас, детей, в праздник на «Куликово поле». С круглого потолка карусели свисают фестоны ярко-красного бархата с золотой бахромой и кистями, к дощатому полю прикреплены по кругу лодки и качающиеся лошади. Заплатив пятак, можно выбрать любое место, но, конечно, на лошади куда интересней. Все места заняты. Хозяин дает знак, его подхватывает веселая музыка. Карусель начинает двигаться, сначала медленно-медленно, потом все быстрее. Лошадь раскачивается в такт музыке, голова откидывается назад, и ты уже несешься вскачь по широкой, вольной степи навстречу ветру... Еще три-четыре оборота, музыка играет тише, движения замедляются, и ты снова у того места, где поднялась на круг.

Я не сомневалась в том, что мое ощущение жизни как заманчивой и обманчивой карусели неправильно: история не стоит на месте, не прекращаются ни на минуту глубинные процессы, имеющие свою закономерность, но эти процессы становятся понятными лишь по выходе на поверхность, а пока живешь тем, что видишь вокруг. Знание есть знание, а ощущение есть ощущение.

Кржижановский продолжал заниматься со студентами, писать новые рассказы, читать их, но моральное самочувствие его снизилось, дела в издательствах не налаживались, пройти в печать было делом сверхтрудным.

Литературная жизнь напоминала игру в чехарду. Никогда еще литература не знала такого количества течений, направлений, из которых каждое выбрасывало свою программу и защищало право на приоритет. Одерживали верх пролетарские поэты, объединившиеся в РАПП. Подлинная молодая советская литература пробивала свои ростки сквозь толщу всяческих препятствий. Дореволюционные издательства и объединения закрывались одно за другим. Кржижановский отдал свои «Сказки для вундеркиндов» в издательство «Денница», но оно вскоре закрылось. Лежнев взял у него для журнала «Россия» «Автобиографию трупа», но печатание переносилось из месяца в месяц, пока сам журнал не вынужден был наполовину сократить свой объем. Лежнев ушел, а с новым редактором не налаживался контакт.

Наши материальные дела были на грани краха. Не имея летом заработка, я уехала в Одессу в надежде пережить трудные дни в семье со своими близкими. Уезжая, я не очень-то верила словам С. Д., уверявшего меня в том, что дела пошли на улучшение и он вот-вот получит верный гонорар. Опасения мои оправдались. Как ни прятал он от меня горькую правду, но она прорывалась в письмах. Гонорар не поступал, приходилось познакомиться с «доктором Шроттом». Это имя стало синонимом голодовки. В Германии была санатория доктора с такой фамилией. В ней лечили больных голодом. Играя фамилией Шротт, С. Д. прикрывал истинное положение вещей. Он писал: «Источник всех моих горестей — литературные «невезятинь». Познакомили меня почти случайно с редактором «России» и после двух-трех двухчасовых разговоров вижу: надо порвать. Может быть, это последняя литературная калитка, но я захопну и ее: потому что или так, как я хочу, или никак. Пусть я стареющий, немного даже смешной дурак, но моя глупость такая моя, что я ее и стыжусь, и люблю, как мать своего ребенка-уродца. И ну ее к ляду всю эту «литературу»... — И дальше: — Доктор Шротт хоть и бродит за мной по пятам, но мне ловко удастся отворачиваться от встреч с ним нос к носу. ...Хотелось бы, чтобы вообще старик как-нибудь отделался от меня, потерял мой адрес, что ли.

Я читала письма, и меня мучило воображение. И наяву, и во сне представлялось. Он сидит на скамье бульвара или в парке. Вечер. Он любит город и чувствует себя хорошо в одиночестве среди шумной, снующей взад и вперед толпы. В голове проносятся мысли, знакомые образы, реют замыслы, они сталкиваются, борются за право на осуществление. Великолепная битва. Он чувствует, что кто-то подсел к нему. Это старикашка маленького роста с седой, торчащей клином вперед бородкой, в пенсне на длинном шнурке и мягкой войлочной шляпе. Некто вроде «маленького Цахеса». Но нет, это не Цахес, это доктор Шротт. Доктор, улыбаясь, что-то предлагает ему. Кржижановский встает, идет, идет и... и Шротт за ним... Что этот доктор ему предлагает? В чем убеждает?..

Избавление пришло от Сергея Дмитриевича Мстиславского. Мстиславский предложил написать для Большой Советской энциклопедии статью об Авенариусе. Статья очень понравилась, последовал еще ряд заказов, и к моему возвращению дорога в Большую Советскую энциклопедию была уже проложена. Его зачислили в штат в качестве контрольного редактора отдела ЛИЯ (литература, искусство, языки). Отто Юльевич Шмидт, руководивший энциклопедией, был вежлив с сотрудниками, не докучал им мелкими придирками и больше был занят планами своих отважных великолепных экспедиций. Работать можно было спокойно.

В эту зиму удача пришла и с другой стороны. Таиров решил ставить в своем театре роман Честертона «Человек, который был четвергом», инсценировку его поручил Кржижановскому; работа увлекала. Честертон был по душе, сюжет хотя и связывал, все же оставлял некоторый простор и для фантазии. Пьеса удалась, актеры и репетировали, и играли ее с удовольствием.

Пожалуй, стоит тут упомянуть о маленьком инциденте, принесшим, однако, большое огорчение.

Театр по традиции устраивал после премьеры банкет. На банкете присутствовали исполнители, большая часть труппы во главе с Таировым, представители прессы, друзья театра, именитые гости и «нужные люди». Банкет проходил в непринужденной обстановке: пили, провозглашали тосты. Актер, игравший роль Среды, Соколов, предложил тост за автора сценария — Кржижановского. С. Д., сидевший к нему спиной, поднялся с бокалом вина, но вдруг увидел в руке Соколова вместо бокала вазочку с печеньем. Была ли то неуклюжая шутка подвыпившего актера или сознательная дерзость — не знаю. Напрасно Таиров и Коонен подходили к С. Д. с приветствием, приглашали к своему столу — боль обиды не унималась. Не помогло и извинение спохватившегося и признавшего бестактность своей шутки Соколова. Еще и на другой день, вспоминая о вчерашнем банкете, С. Д. бледнел от гнева и боли. Отравлена была первая радость от первой большой удачи.

Пьеса прошла свыше пятидесяти раз, давая сборы. Однажды во время спектакля сорвался лифт, входивший в конструкцию декораций. Актер, сидевший внутри лифта получил легкое повреждение. Охрана труда требовала изменений в конструкции декораций, что было невозможно, так как требовало изменений всего режиссерского плана. Только после этого пьеса сошла со сцены.

Забегая несколько вперед, расскажу еще об одной совместной работе Кржижановского с Таировым. В тридцать седьмом году исполнилось сто лет со дня смерти Пушкина. К юбилейной дате готовилась вся страна, готовились и театры. Таиров решился на довольно отважный шаг: поставить роман «Евгений Онегин». Татьяна была давнишней мечтой Коонен, а Чаплыгин, вероятно, мог бы быть неплохим Онегиным. Инсценировку поручили Кржижановскому. Задача была очень трудной и ответственной. Гениальная опера Чайковского, слишком хорошо знакомая зрителям, не сходявшая в течение полустолетия со сцены, навязывала и свое развитие сюжета, и свое освещение всех персонажей. Надо было найти что-то новое, свежее, незнакомое, чтобы пьеса была не простым повторением уже пройденного этапа, а раскрытием каких-то упущенных или недоработанных Чайковским возможностей. Все это надо было выполнить, оставаясь в то же время верным замыслу Пушкина и стихотворному тексту романа. Трудность задачи только радовала Кржижановского. Он бесконечно любил Пушкина, радовался возможности соприкоснуться с благородством высокого строя его мыслей и чувств, упиться гармонией его стиха. Маленький томик «Евгения Онегина» стал его постоянным спутником.

Когда инсценировка была готова и впервые прочитана, Таиров и Коонен считали задачу наполовину выполненной. Коонен уходила, прижимая к груди рукопись и повторяя: «Пьеса есть, пьеса есть».

Сигизмунд Доминикович начинал пьесу небольшим прологом: лавка Смирдина, Пушкин с группой современников писателей. Идет отрывок из «Разговора, писателя с книгопродавцем». Следующая сцена: скромное запущенное сельское кладбище; Ленский, склонившийся над могилой Дмитрия Ларина, читает надгробную надпись и т. д. В компоновке сцен выявилось много нового, неожиданно интересного. Письмо Татьяны читает получивший его Онегин. Интересно намечалась сцена «Онегин и Пушкин у парапета набережной Невы». В пьесе подчеркивалась сатирическая сторона романа; любопытны были гости на именинах у Татьяны, архивные юноши.

Одновременно с процессом создания пьесы шли работы по оформлению спектакля. Декорации были поручены Александру Александровичу Осмеркину, яркому, жизнерадостному художнику, влюбленному в Пушкина и прожившему два лета в Михайловском. Уже были выполнены эскизы костюмов

и чудесные макеты декораций. Написать музыку уговорили С. С. Прокофьева. Это было довольно трудно. С. С. решительно отказывался работать над «Евгением Онегиным» после Чайковского. На чтение пьесы он пришел мрачный, недовольный, сел в кресло в дальнем углу огромного таировского кабинета, первые сцены слушал, глядя себе под ноги. Потом незаметно для себя стал двигаться вместе с креслом по диагонали прямо на Кржижановского. По окончании чтения включался в разговор, спор — и окончил тем, что дал согласие на музыкальное сопровождение, уже увлеченный какими-то одному ему известными творческими возможностями. Написанные им музыкальные фрагменты были ярки, оригинальны, особенно интересны контрасты музыки провинциального оркестра на именинах Татьяны и холодной, чинной — на петербургском рауте.

Беспокоясь за судьбу постановки и желая обеспечить ей наилучшие условия, Таиров решил провести еще одно чтение — с пушкинистами. Присутствовали Вересаев, Цявловский, Бонди. Мнения разделялись в частности, но серьезность и ответственность работы признавалась всеми. Вересаева пугали новшества, Бонди их охотно принимал. Некоторые из замечаний пушкинистов все же пришлось учесть. Упрямый в вопросах переделки, Кржижановский уступил на этот раз просьбам Таирова и написал второй вариант. Гораздо хуже дело обстояло с реперткомом. По настоянию его пришлось делать третий и четвертый варианты. Они уже не радовали С. Д. Пьеса от раза к разу становилась все хуже, приближаясь к обычным, стандартным инсценировкам.

Несмотря на принятые меры предосторожности беда все же пришла, но не оттуда, откуда ждали. Театр не пользовался вниманием правительства и высшей администрации. Высшие чины сюда редко заглядывали. В театрах, посещаемых представителями власти, для высоких гостей устраивали отдельный вход, особенно там, где бывал Сталин. Таиров не искал высоких посещений, придерживаясь мудрой философии грибоедовской Лизы: «Ах, от господ подале. У них беды себе на всякий час готовь».

Жизнь в театре шла своим чередом, готовилась постановка комической оперы Бородин «Богатыри». Декорации были написаны мастерами Палеха. В труппе были актеры с хорошими вокальными данными. Спектакль обещал быть интересным.

На генеральную репетицию нежданно-негаданно приехал Молотов. Бородин, создавший глубоко патриотический бессмертный образ князя Игоря, задумал отразить некоторые черты древних богатырей в шутовском плане. Молотов в комическом разрезе образов богатырей увидел умаление русского духа, русского патриотизма, что представлялось ему опасным при создавшейся политической обстановке. На следующий день последовало запрещение спек-

такля. Пошли слухи о готовящемся закрытии театра, якобы не отвечающего своим репертуаром требованиям времени. В труппе царила паника. Рассказывали, что Алиса Георгиевна ездила к жене Молотова хлопотать о театре. Неизвестно кем инспирированная, появилась в газете статья, посвященная творчеству Коонен. О ней писали как о лучшей трагической актрисе современности.

Таиров метался, разыскивая пьесу для замены «Богатырей». Поставили «Дети солнца» Горького с Коонен в заглавной роли. Слухи о закрытии театра постепенно рассеивались, но в труппе еще долго держался страх. О постановке «Евгения Онегина» не могло быть и речи. Захлопнулась еще одна калитка.

Пронесшаяся было над театром гроза все же разразилась, но много позже. Театр вернулся из эвакуации, торжественно отпраздновал сорокалетие своего существования. Храпченко, как представитель власти, произнес прочувствованную речь, воздав хвалу театру и Таирову, а через два года Александр Яковлевич, отставленный от руководства, был вынужден уйти из театра. Вместе с ним ушла и Коонен. Оставались здание, сцена, кулисы, оставалась труппа, но ушел великий мастер, и театр потерял имя, потерял лицо.

VI

Двадцатые годы и начало тридцатых были временем расцвета таланта Кржижановского. В эти годы им были созданы такие произведения, как: «Собиратель щелей», «Чудак», «Швь», «Клуб убийц букв», «Возвращение Мюнхгаузена», «Чужая тема», «В зрачке», «Материалы к биографии Горгиса Катафалаки» и другие. Определелись основные темы, характерные черты его писательской манеры, его философская направленность. Но эти же годы становления его как писателя принесли ему наибольшие страдания. Рукописи неизменно возвращались к автору, иногда сопровождаемые любезной смущенной улыбкой и заверениями в том, что все в редакции читали... очень интересно, «но... не подходит», иногда возвращались молча, обезображенные прямоугольным штампом с десятью буквами внутри: «Не печатать». Эти «не подходит» и «не печатать» ложились тяжелым грузом на мозг, брали в тиски душу, наполняя ее болью, обидой, недоумением. Кржижановский был уверен в том, что нужен читателю, что читатель поправит его в ошибках, поможет в исканиях. Ради встречи с читателем он готов был идти на какие угодно лишения и испытания, но встречи не получались.

В таком состоянии крайней подавленности он находился, когда летом двадцать шестого года он получил из БСЭ месячный отпуск. Надо было что-то предпринять для приведения себя в порядок. Он решил воспользоваться при-

глашением Максимилиана Александровича Волошина отдохнуть у моря в Коктебеле. Привлекали рассказы о гостеприимном доме поэта, о его хозяине и своеобразном укладе жизни его обитателей. Максимилиан Александрович встретил Кржижановского очень радушно и во все время его пребывания старался создать ему хорошие условия для отдыха и работы.

«Каждый день купаюсь и самосжигаюсь. К работе я себя не понуждаю: сидеть у моря и слушать прибой — это куда интересней возни со словами». О Максимилиане Александровиче он писал как об исключительно интересном человеке: «Сам он обаятельное сочетание мудрости и наивности, язвительности и любви. Огромный и грохочущий, он напоминал мне Воскресенье¹, окруженный нами: приезжающими и отъезжающими днями. И я опять человек, который был, кто знает, может быть, Четвергом.

Жили в Коктебеле все несколько разрозненными малыми группами; по вечерам встречались за чаем. Иногда устраивали чтения. Читал и Кржижановский, читал довольно часто с неизменным успехом. Об одном чтении он так рассказывает: «Ваше письмо пришло все-таки вовремя, за несколько минут до начала чтения, я успокоился и легко овладел текстом. Рассказ произвел впечатление более сильное, чем можно было ждать. По окончании я увидел себя окруженным глазами с пристальностью и хорошим долгим молчанием. Затем Волошин, вообще скупой на баллы, заявил, что это великолепно и безжалостно».

Перед отъездом, прощаясь, Максимилиан Александрович вручил ему на память свою акварель с надписью: «Дорогому Сигизмунду Доминиковичу, собирателю изысканнейших щелей нашего растрескавшегося космоса» и приглашение приезжать, когда ему захочется.

Даже Коктебель с его добрым хозяином, легким укладом жизни, сочувствующим, впечатлительным, внимательным человеческим ансамблем и вечно прекрасным морем не могли дать ему полного покоя.

Второе лето в Коктебеле уже было насыщено гнетущей тоской, жаждой перемены мест и впечатлений. Он решил бить тоску километрами. В этот приезд исходил все окрестности, побывал в Алуште, Судаке... Тоска, быть может, и похудела, но, как верный пес, не отставала от своего хозяина.

«Я и здесь не могу выкарабкаться из чувства ожесточенности и горечи. Ни бризам из меня не выдуть, ни солнцу из меня не выжечь подлой накипи бессмысленного гневного «за что», которое умный человек не должен пускать себе в уши».

Некоторую разрядку в это настроение внесло неожиданное мое вторжение. Крымские письма беспокоили, надо было что-то предпринять. К счастью,

¹ Воскресенье — персонаж из романа Честертона «Человек, который был четвергом».

в Судаке отдыхали мои друзья — чета Фоминых. Они приглашали меня погостить у них. Я знала, что там же на даче композитора Спендиарова отдыхает и наш друг по Киеву — Анатолий Константинович Буцкий, знала, что встреча с ним будет приятна С. Д. Наскоро собравшись, я дала телеграмму в Коктебель. Неделя, проведенная в узкой дружеской компании, отвлекла всех нас от дум и забот — было просто хорошо.

Возвращаясь в Одессу, я на два дня задержалась в Коктебеле. Тут я впервые увидела и познакомилась с Максимилианом Александровичем. Я не могла воспользоваться его любезным приглашением погостить, так как торопилась домой. С. Д. мог еще оставаться.

Очень живо помню эти два дня, проведенные в Коктебеле. Вижу живописную Коктебельскую бухту, с расположившимся у ног ее поселком. Скромные домики, всеми своими окнами и террасами обращенные к морю, полукружие гор, непрерывно меняющих свою окраску, знаменитую мастерскую с статуей царицы Таиах, хозяина, большого, с огромной гривой, седеющих волос, схваченных повязкой, в длинной белой холщовой одежде, подпоясанной ремешком. Он похож на вещего кудесника, выходящего из священной рощи, или древнегреческого ваятеля перед станком с глыбой мрамора.

Перед самым отъездом с С. Д. случилась еще одна нежданная очень радостная встреча. Он познакомился с Александром Грином. В беседе выяснилось, что Грин читал его: «Штемпель „Москва"», хотел бы еще повидаться и пригласил Кржижановского побывать у него в Феодосии.

Через два дня С. Д. был уже в Феодосии. До отхода московского поезда оставалось два часа, он провел их в доме Грина. Тут ему все нравилось: сам Грин, его образ жизни, жилище, непринужденность беседы. Рассказывая в Москве о своей встрече, он волновался так, как будто соприкоснулся с чем-то очень важным, очень дорогим для себя. Особенно волновали его воспоминания об одной как будто мелкой детали: «Тут Грин на минуточку замолчал, задумался. Потом протянул руку к морю и тихо сказал: „Здесь я впервые увидел мою „Бегущую по волнам“».

VII

Нельзя сказать, что Кржижановский был несчастлив в друзьях. Исходившее от него обаяние привлекало к нему многих людей, но на сближение он шел трудно; установившимися дружескими отношениями дорожил, свято оберегая их. Очень требовательный к себе, он был требователен и к друзьям. «Друзья — это те, которых любят, ничего им не прощая». Некоторые, не выдержав испытаний дружбы, уходили от него. Это было всегда болезненно.

В те трудные двадцатые годы его поддерживали морально и помогали в устройстве литературных дел Мстиславский, Левинов, Ланн, Антокольский. Ланн и Антоколовский познакомили его с Евдоксией Федоровной Никитиной, председателем литературного объединения и организатором пользовавшихся хорошей известностью в Москве так называемых «Никитинских субботников». Субботники вели начало еще с дореволюционного четырнадцатого года. Будучи студенткой, Никитина стала проводить литературные чтения, на которые сходились и молодые начинающие писатели, и уже известные мастера слова, критики, литературоведы. По окончании университета она была приглашена читать курс русской литературы. Страстная любовь к литературе удачно сочеталась в этой молодой, умной, энергичной женщине с редким организаторским талантом. Упорно, настойчиво от субботы к субботе она укрепляла и расширяла объединение, на базе которого выросло свое издательство, сохранившее название «Никитинские субботники». Евдоксия Федоровна обладала исключительным чутьем в отношении молодых дарований и мужеством в отстаивании их произведений для печати. Многие молодые писатели, еще далекие от общественного признания, получали свое крещение в ее доме.

Кржижановский стал охотно посещать «субботники». Вскоре Никитина предложила ему выступить со своими рассказами. Он читал в разное время «Собирателя щелей», «Боковую ветку», «Тридцать сребреников», главы из «Возвращения Мюнхгаузена». Рассказы вызывали широкий обмен мнений, принимались как совершенно оригинальное, исключительное явление литературы.

После одного из таких чтений Никитина предложила Кржижановскому подождать, пока разойдутся присутствующие, так как ей необходимо переговорить с ним. Я чувствовала себя неловко, боясь помешать, но разговор состоялся в соседней комнате. Чтение было удачным, и хотя я знала, что ничего не может быть плохого, сильно волновалась. По лицу показавшегося в дверях комнаты Кржижановского я поняла, что разговор привел к хорошему результату.

Простившись с хозяйкой, мы спустились по лестнице и вышли на улицу. Дом, в котором происходили литературные собрания, находился на Тверском бульваре, почти напротив Камерного театра. Мы пошли бульваром. Было поздно, лишь редкие прохожие попадались навстречу. Дойдя до памятника Тимирязеву, мы сели на скамью. Хотелось поговорить всласть. «Что она сказала?.. А вы что ответили?..» и т. д. Никитина предлагала провести в издательстве одну из теоретических работ Кржижановского: «Поэтика заглавий». Дело было почти верное, так как ее слово имело решающее значение.

На бульваре было безлюдно, поздние ночные трамваи изредка прорезали звонками тишину; от памятника тянулась почти к ногам длинная тень. Мы

размечтались на любимую тему Сигизмунда Доминиковича. Он страстно мечтал о поездке в Англию. Работая над повестью «Материалы к биографии Горгиса Катафалаки» он долго просиживал над картой Лондона, тщательно изучал его улицы, сплетения переулков, скверы, памятники старины и, вероятно, знал их не хуже старожилов этого удивительного города. Теперь он рассказывал о том, что поедет со мной в Англию, поведет по знакомым улицам Лондона, покажет Вестминстерское аббатство, Трафальгар-сквер и прочие чудеса.

Становилось зябко, мы встали и быстро пошли бульваром. Было уже совсем поздно, когда, проводив меня домой, он вернулся к себе на Арбат.

Никитиной удалось напечатать «Поэтику заглавий». Она начала хлопотать и о «Сказках для вундеркиндов», но даже ей получить разрешение на печатание не удалось.

«Поэтика заглавий» была первым значительным произведением Кржижановского, появившимся в московской печати. Она не могла принести ни славы, ни больших денег, но она положила начало дружеским отношениям, сохранившимся до конца жизни автора.

Был один случай, когда активное вмешательство Никитиной уберегло его от большой беды. В начале тридцатых годов проводилась разгрузка Москвы. Была объявлена общая паспортизация. Паспорт выдавался только лицам, предъявившим справку с места работы. Сигизмунд Доминикович в это время уже нигде не служил. В милиции ему отказали в выдаче паспорта. Выслушав его заявление о том, что он писатель, дали три дня для получения справки из писательской организации.

Никитина, узнав о его критическом положении, предложила ему немедленно подать заявление о приеме его в члены группкома драматургов и в течение двух дней собрала свыше десяти подписей — рекомендаций известных писателей.

Группком принял Кржижановского в члены, выдал справку; на третий день у него уже был паспорт.

На «субботниках» выступали не только с чтением художественной литературы, но и с научными докладами, музыкальными номерами. Приезжали актеры, певцы. Тут можно было встретить Москвина, Качалова и других именитых гостей. Под Новый год устраивалась елка. Каждому приглашенному заранее подготовлялся подарок «со значением». С. Д. получил однажды на елке стопку монет: тридцать шоколадных рублей, обернутых серебряной бумагой — намек на тридцать сребреников из его одноименного рассказа.

Евдоксия Федоровна всегда обладала исключительным даром не только притягивать, но и удерживать около себя людей. В ее обращении с окружаю-

щими чувствовалась теплота и некоторая доверительная интимность, и это, должно быть, располагало и притягивало к ней.

Меня всегда трогала ее способность слушать. Она слушает всем существом, особенно глазами. Внимательные, пристальные, глубокие, они не блестят, но светятся матовым мягким светом, льющимся в душу собеседника. Такое же впечатление производит и голос: низкий, грудной, обволакивающий.

Когда в 1964 году праздновалось пятидесятилетие «субботников», на ее имя пришло свыше тысячи поздравлений от друзей-членов, как она говорит, «от ее большой семьи».

VIII

В стране началась коллективизация сельского хозяйства. Проводилась она в кратчайшие сроки и без необходимой подготовки. Кулаков выселяли из деревни; середняки и бедняки, не понимая смысла экономических реформ, частью сами покидали насиженные места, частью оставались, но от работы отказывались. Поля стояли невспаханными, незасеянными, урожай гнил на корню. Голод, перекинувшись из деревни в город, прокатился по всей стране.

Магазины снова опустели, в витринах вместо продуктов красовались в золоченых рамках копии натюрмортов знаменитых голландских мастеров. По карточкам давали черный хлеб.

В учреждениях шла чистка аппарата. Начались аресты. Люди, боясь за себя и своих близких, старались держаться подальше друг от друга, стали уничтожать письма, книги с автографами, фотографические карточки. Это было начало тех грозных, страшных лет, которые унесли тысячи и тысячи невинных жертв, и горькая память о которых еще долго будет жить в сознании народа.

Меня не покидало беспокойство о Сигизмунде Доминиковиче. Мы жили на разных квартирах и обычно встречались вечером. Утром я не знала, как прошла ночь, проснулся ли он в своей постели. Иногда, не в силах дождаться вечера, я после трех часов звонила в редакцию, зная, что в это время работа уже прекращалась и звонок не выдаст моей тревоги. Мне отвечали: «Кржижановский был, уже ушел», — и я спокойно дожидалась вечерней встречи.

Особенно меня волновала судьба рукописей. Он правил рукописи у меня на квартире и тут же оставлял их. Почти все они лежали у меня в шкафу на полке, прикрытые черной, шитой золотом парчой (иронический намек на их литературное небытие).

Сергей Дмитриевич Мстиславский, к которому я обратилась за советом, как надежнее сбересть рукописи, сказал мне, что его положение не лучше и что он всегда выжидает, что будет, что будет...

Беспокойство мое достигло высшего напряжения, когда я, придя утром в Театральную библиотеку — место моей временной работы, — узнала, что из восьми сотрудников двое арестованы.

Вернувшись домой, я долго сидела у стола, потом ходила по комнате, напряженно думая, потом, подойдя к полке с рукописями, откинула парчу и вдруг приняла решение — нелепое, несуразное, но, как мне тогда казалось, единственно возможное.

Наша квартира отапливалась дровами, и нам был отведен сарай для трех съемщиков. Я собрала рукописи в корзину, спустилась вниз к сараю и уложила рукописи поверх дров, прикрыв их поленьями. Уже защелкивая замок сарая, я чувствовала нелепость моей затеи. Поздно вечером пошел дождь, я слушала стук капель по оконным стеклам, и мне казалось, что даже они смеются надо мною. Потом мне представилось, что крыша сарая протекает, что капли, пробившись меж поленьев, заливают бумагу, что буквы расползаются, что рукописи, точно живые существа, мерзнут и жалуются на мое легкомыслие. Проведя ночь без сна, я, чуть рассвело, снова спустилась в сарай, уложила рукописи в корзину и вернулась домой. Тут, отдавшись благодетельной мысли: будь что будет, — я сразу почувствовала разрядку напряженности.

К счастью, о моей нелепой затее С. Д. так и не узнал. Я упоминаю сейчас о ней, потому что испытанные мною чувства в те дни были характерны не только для меня, но для большинства окружающих.

Настроение, общую подавленность и настороженность тех дней Кржижановский отразил в рассказах «Красный снег» и «Воспоминания о будущем».

Очень хотелось уехать из Москвы куда-нибудь далеко, в незнакомый город, где будут незнакомые люди и говорить они будут на незнакомом языке. Англия уже перестала быть мечтой: жили за железным занавесом.

Вспомнилась Таруса, где я прошлым летом провела две недели. Старинный город на Оке, вдали от железной дороги, меня очаровал. Я написала своей прежней хозяйке, прося оставить в ее доме одну комнату для меня и Кржижановского. Устроившись в Тарусе, стала ждать приезда С. Д.

Дела задержали его в Москве.

Межрабпом-фильм заказал ему сценарий по роману Бергстедта: «Праздник святого Йоргена». Фильм должен был снимать Протазанов, в главной роли выступит Игорь Ильинский. Поначалу работа увлекла, но когда дело приблизилось к съемкам, стали возникать великие и малые недоразумения, совершенно измучившие его. Он написал мне: «Из последних сил настроил 3,5

печатных листа, а теперь оказывается, что надо делать все сначала. Сначала так сначала, но откуда взять сил и времени? Внешне я не протестую, соглашаюсь писать «по Протазанову», но внутренне во мне все кипит, и я близок к тому, чтобы вообще послать их всех к черту. Тем более что никакого реального плана у Протазанова нет, а так, кое-какие отрывки, которые ему кажутся, разумеется, ценнее моего стройного темоведения... В дальнейшем от этих кино-людей надо подальше: пока я работал, как скаженный, над сколачиванием кадров, они тиснули в газете: «Режиссер Протазанов работает над составлением сценария „Праздник святого Йоргена“». И все...»

В следующем письме продолжает: «Подумать только, за эти месяцы я написал более 6 печатных листов этой дряни — и ни «славы», ни денег (последнее слово я не согласен закавычивать — пусть платят червонцами без всех аллегорий)».

Его томила тоска по своей, настоящей литературной работе. В голове роились, оспаривая очередь, новые и новые замыслы; он уже закончил «Возвращение Мюнхгаузена». Теперь задумал роман «Тот, третий» и вел о нем переговоры в ЗИФе с Черняком: «Не столько «для дела», а чтобы отвлечься, позвонил в ЗИФ Черняку. Завтра предстоит разговор о «Том, третьем». Он не даст, конечно, материальных результатов, но хоть на час-другой переведет мои мысли на литературу. Хотя мысли и сами лезут именно сюда: вчера перед диктантом просидел часа полтора в кафе и вместо того, чтобы готовиться к инсценированию, обдумывал новые куски своей „Поэмы в рубленой прозе“». И в следующем письме продолжает: «Был в редакции у Черняка: на двухчасовое его восхищение моим пером нельзя купить и дюжины обыкновенных штампованной стали перьев».

Только к началу августа удалось освободиться от тисков кино и попасть наконец в Тарусу.

Дом наших хозяек находился на окраине города, в местности, носившей странное название Порт-Артур. В сорока-пятидесяти шагах от дома подымался густой сосновый лес, влево раскинулись поля и луга. Наши хозяйки, две милые одинокие женщины, уже кое-что знавшие о Кржижановском по слухам и даже случайно слышавшие его на одном из «субботников», постарались наладить нашу жизнь, освободив от мелких хозяйственных забот. Мы вставали рано утром, пили парное молоко с свежим домашним хлебом, завтракали в маленьком дворике при доме под невысокой тенистой грушей. Не спеша наблюдали сельскую идиллию: возню кур с цыплятами, драку петухов, пощипывание греющегося на солнце большого домашнего пса. Потом шли в лес на излюбленную поляну и, расположившись на траве, принимались за чтение вслух английского романа. С. Д. усердно занимался английским языком, а отдыхать любил, по его словам, работая.

После простого вкусного обеда с терпким красным домашним вином отдыхали. Под вечер уходили гулять: шли лесом в поле, по дорогам, неизвестно куда, вперед и вперед, навстречу заходящему солнцу. Розоватая дымка заката, простор полей, смолистый запах сосен — все говорило о покое, извечном разумном порядке. И боль души понемногу стихала, ожесточенность смягчалась. Иногда шли к реке. Ока мирно и легко катила свои воды, и это радовало так же, как радовала особая насыщенная тишина вечера. Ходили и к могиле художника Борисова-Мусатова. Дважды ездили в имение Поленова на противоположном берегу Оки. Дочери покойного художника водили нас по комнатам музея, показывая экспонаты и объясняя их происхождение.

Знакомых было мало. Посещая дом жившей в Тарусе писательницы Софьи Захаровны Федорченко, встречались у нее с ее друзьями, простыми, хорошими людьми. Некоторые из них стали и нашими хорошими знакомыми. Меня всегда поражала стойкость и выносливость человеческого духа, его способность, преодолевая тяжелый груз невзгод, обид и унижений, всюду находить скрытую красоту и жадно насыщаться ею. Впрочем, в Тарусе она не была скрытой и находить ее было нетрудно. Недаром этот тихий живописный город слыл излюбленным местом художников и писателей.

Августовские дни постепенно гасли: приближалась осень, хрустальная, нежная. В поле и на кустах протянулись нити серебряной паутины, кое-где на ветвях деревьев проглядывали золотые листья. Все напоминало о близком конце нашей жизни в Тарусе.

Простившись с милыми хозяйками, мы уложили чемоданы и вернулись в Москву.

На вокзале расстались и разошлись по своим комнатам, и это было очень грустно. Мы в первый раз жили вместе в одной комнате, жили счастливо. Я не раз убеждала С. Д. переехать ко мне в мою довольно большую удобную комнату с моим личным телефоном. Он всякий раз ссылался на то, что хочет иметь свой угол, что жизнь в одной квартире, с неизбежными мелкими заботами, безобразным бытом, разрушает очарование дружеских отношений, убивает поэзию чувства; мечтать о встрече, по его словам, — это тоже радость, иногда не меньшая, чем сама встреча. Очень тоскуя в разлуке, он в то же время защищал и ее хорошую сторону: она очищает образ близкого человека. Только в конце жизни, опасно заболев, он переехал ко мне на квартиру, но комнату на Арбате сохранял за собой до самого конца.

Больше всего С. Д. не любил и боялся красивых фраз и внешнего выражения чувств. О самом дорогом для себя: отчизне, литературе, искусстве, — он говорил редко, строго и требовательно отбирая нужные слова. Так же скуп он был на признания и в личной жизни. Однажды он подарил мне англо-русский словарь. На титульном листе стояло указание: «См. стр. 262, 272».

Отыскав помеченные страницы, я прочла подчеркнутые слова *darling, love*. Избегая стертых привычных выражений, он бережно охранял чувства, прикрывая их словами чужого языка. И мне вспомнилось: вероятно, повинаясь той же внутренней потребности, при совершенно иных обстоятельствах, Чехов, умирая, сказал по-немецки: «*Ich sterbe*».

Начались недоразумения по службе. Шмидт, уезжая в очередную экспедицию, поручил руководство редакцией Лебедеву-Полянскому, человеку сухому, ограниченному, лишенному воображения, к тому же перепуганному. Ему всюду в работе сотрудников мерещились погрешности в идеологии, и обращался он с ними, как с чиновниками. Кржижановский не вызывал в нем доверия. К работе его он относился с особым подозрением, докучая нелепыми придирками. Работать становилось все труднее, и С. Д. решил уйти из редакции. После очередной придирки он подал такого рода заявление: «Считая опыт по превращению меня из человека в чиновника в общем неудавшимся, прошу от должности контрольного редактора меня освободить».

Явно иронический тон заявления вряд ли мог понравиться Полянскому. Он решил ничего не предпринимать до возвращения Шмидта. Вернувшись из экспедиции, Шмидт пригласил к себе Кржижановского. Тон его обращения был чрезвычайно любезен. Он благодарил Кржижановского за хорошую работу, говорил, что входит в его положение, расстается с ним, крайне сожалея, понимая, что при создавшихся условиях работать будет затруднительно.

Только вечером, придя домой, С. Д. открыл трудовой список. Вместо резолюции, которой он ждал: «Уволен по собственному желанию», стояло: «Уволен по освежению аппарата». Такая формулировка не соответствовала фактам, ходу событий и показалась ему крайне оскорбительной. В ином свете представлялся и разговор со Шмидтом. Очевидно, он уступил настоянию Полянскому. Что ж, месть чисто по-чиновничьи.

Если бы С. Д. заглянул в трудовой список в редакции, Полянскому пришлось бы выслушать несколько любезных колкостей — все-таки была бы разрядка. Но время было упущено. Ночь и утро не подсказали разумного выхода. Было ясно: удар нанесен в спину, время упущено, после драки кулаками не машут.

Так закончилась служебная карьера Кржижановского в БСЭ. Захлопнулась еще одна калитка.

IX

Кржижановский недолго оставался без службы. Вскоре он уже работал в редакции издательства «В бой за технику».

Летний отпуск решили провести на Кавказе. Ознакомившись с северным побережьем, остановились в небольшом приморском городе Хосте. Здесь прожили две недели. Жизнь своей размеренностью, налаженностью быта и целительным влиянием природы напоминала тарусскую.

Кржижановский впервые видел Кавказ. Этот чудесный край захватил его воображение; хотелось проникнуть вглубь, в самое сердце, увидеть горы, бешеные реки, дикие ущелья.

Обстоятельства сложились так, что в следующее лето он получил возможность осуществить свое желание.

Летом 1931 года он мне писал: «Берите билет на экспресс Одесса — Батуми, помня, что 3 августа я уже буду в Одессе. Берите непременно 1-й класс; наши дела немного поправились, так как Сергей Дмитриевич возвратил долг. Будем «кутить». Я уже, собственно, начал: приехав сегодня на городскую станцию к 9-ти часам и увидев столпотворение у «жестких касс», я стал в маленькую «мягкую» очередь и через 1/4 часа билет (один из последних) был у меня в кармане. Разница, в сущности, незначительная, и в будущем так будете поступать и Вы. Я уж об этом позабочусь».

Последние слова: «Я уж об этом позабочусь» — меня очень тронули. Ему всегда хотелось сделать для меня что-то особенное: хотелось создать лучшие условия для работы, хотелось видеть меня хорошо одетой, радостной... и наконец-то это: «будем кутить».

Приехав в Одессу, Кржижановский впервые познакомился с моей матерью и сестрами. Отношения сразу установились прочные и сердечные.

Через два дня пароход отплывал в Батуми. Наш первоначальный план был очень скромн: предполагалось провести летний отпуск в знаменитом, воспетом в стихах Пастернаком Кобулету.

Неожиданная получка денег позволила «кутить», то есть отказаться от Кобулету и пуститься в «большое плавание». В течение месяца мы проделали около пяти тысяч километров: морем, сушей, рекой. Путешествие было полно приключений и досадных, и забавных. Я видела С. Д. впервые в его стихии.

Всякий раз, когда ему удавалось вырваться из тисков будничной жизни, оторваться от насиженного места, он чувствовал себя легко, свободно, как птица в морском просторе. Глядя на него со стороны, когда он стоял на палубе парохода и следил за стаяй резвившихся, обгонявших друг друга и высоко взлетающих в воздух дельфинов или провожал глазами паривших в небесном просторе чаек, я мысленно представляла себе его участником какой-нибудь трудной геологической экспедиции или среди экипажа моряков в полярных льдах. Физически он был крепок, вынослив, духовно — легко раним.

Сойдя с парохода в Батуми, мы направились к Приморскому бульвару. Позавтракав, отыскали дом Вашнадзе, местной жительницы, к которой у нас

было письмо. О гостинице в те дни нечего было и мечтать. Приветливая, как большинство грузинок, Вашнадзе поместила нас на плоской крыше своего дома, предоставив в распоряжение два матраса. Нас это вполне устраивало. Днем мы осматривали город, а ночью, расположившись под звездным небом, слушая треск цикад и шум морского прибоя, усталые и довольные, крепко заснули.

На другой день поехали смотреть «Зеленый мыс», побывали в Чакве и Кобулету. Последний не очень понравился, и это тем более помогло нам отказаться от первоначального плана. Вернувшись к вечеру в Батуми, провели на знакомой крыше еще одну ночь. Хозяйка при прощании вручила рекомендательное письмо к своей знакомой в Тбилиси — Тамаре Ушидзе. Мы сели в поезд.

В Кутаиси при посадке в вагон у С. Д. украли из бокового кармана пиджака паспорт, воинский билет и одну треть нашего капитала. Начальник станции, к которому пришлось обратиться с заявлением о краже, старался утешить нас, вежливо объяснив, что давка при посадке — обычный прием местных жуликов.

Поезд пришел в Тбилиси утром. Несмотря на то, что термометр показывал сорок три градуса, мы, преодолевая жару, отправились по указанному в письме адресу. Наша новая хозяйка поместила нас в узкой длинной передней с двумя матрасами. Над головами не было звездного неба, так любовно расстилавшего свой воздушный покров в Батуми, но ночлег все же был обеспечен. Позавтракав вкусным грузинским лобио и переждав жаркие часы, пошли на Фрайдинскую улицу к Елене Давыдовне Гогоберидзе, жене писателя Лундберга. Елена Давыдовна, молодая женщина с правильными чертами красивого, матового лица, умными глазами, лениво грациозная в движениях, встретила нас дружески и много помогла в знакомстве с городом. Вечером она показала памятник Грибоедову, повела на Давыдову гору.

Все дни мы бродили по городу, подолгу простаивали над желто-красными водами Куры, знакомились с памятниками национального искусства, посетили местное кладбище, побывали в тбилисских банях. В жаркие дни спасались от зноя в огромных старинных соборах, всегда прохладных и безлюдных. Истинное страдание от зноя мы испытали в Мцхете, древней столице Грузии, пустынном, почти безлюдном городе, насчитывающим около двух тысяч лет существования.

Выйдя из вагона, я едва добежала до тени ближайшего дерева и тут же остановилась, чувствуя себя не в силах двинуться дальше. С. Д. пошел знакомиться с недавно отстроенной электрической станцией, питающей Тбилиси и весь край.

К счастью, в Мцхете есть еще одна достопримечательность, которую я могла обозреть без отрыва от спасительной тени под деревом.

На невысокой плоской горе высится тот самый монастырь, который служил обителью лермонтовскому Мцъри. В памяти тотчас же проступили строки поэмы. Вслушиваясь в мерный ритм стиха, я старалась угадать: где же мог быть «тот лес», «та поляна»?

Как ни интересно было оставаться в Тбилиси, но дальнейший путь требовал к себе внимания и времени. У нас не было предварительного плана. Одно было ясно: хотелось вернуться в Москву по Волге, и путь к ней лежал через Орджоникидзе, Махачкалу, Каспийское море, Астрахань. Впереди нас ждала самая интересная часть пути: Военно-Грузинская дорога.

Простившись с друзьями, напутствуемые их добрыми пожеланиями, мы уселись в машину и вскоре уже неслись по узкому шоссе Военно-Грузинской дороги. Это чудо человеческого разума и рук, эта дорога, не нарушая великолепия дикой природы, позволяла вобрать в себя всю ее первобытную прелесть. Машина неслась по узкому шоссе над самой пропастью, внизу по ущелью Дарьяла мчался бешенный Терек, пенясь, бросаясь грудью на скалы и разлетаясь тысячью брызг.

Но вот и дорога кончилась. Очутившись в Орджоникидзе, мы призадумались: рекомендательного письма ни к какой милой, сердечной хозяйке у нас не было, вскоре выяснилось, что на место в гостинице рассчитывать тоже нельзя. День провели, осматривая город, вечером пошли в городской сад, где уже гремел духовой оркестр, оповещая местных жителей о начале гулянья. Смещавшись с толпой, мы ходили по большому тенистому саду, похожему на парк, и посматривали на скамьи, смутно догадываясь, что именно они ночью предложат нам свои услуги. У подножья сада протекал Терек, тот самый Терек. Теперь он не мчался покрытый пеной по уступам скал, как в Дарьяльском ущелье, но, присмирив, величественно и спокойно нес свои воды.

Мы уже наметили место удобное для ночлега — оставалось ждать закрытия сада. Когда погас последний фонарь и сторожа куда-то исчезли, мы сели на скамью и долго смотрели на темные воды Терека. Ночь была теплая, безлунная. Решили спать по очереди.

Рано утром, когда воды Терека посветлели и чуть поблескивали розоватыми искрами, мы привели себя в порядок и, совсем осмелев, пошли по аллее сада. В саду у невысокого здания кино стояли несколько человек. К нашему счастью, начинался первый сеанс: картина с участием Макса Линдера. Темнота зала располагала ко сну, но появление Линдера на экране, его блестящее мастерство и заразительное веселье прогнали последние остатки дремоты.

В Махачкале нам пришлось довольно круто. Пароход на Астрахань должен был прийти только на третий день к вечеру. В доме колхозника можно было получить на ночь одно место: мужское. С. Д. отказался воспользоваться им.

Город производил удручающее впечатление. С двух сторон дули сильные ветры, поднимая облака черной пыли. Она вихрем носилась по улицам, забивая глаза, уши, ноздри, проникая за воротник платья. Встречные прохожие в темных очках шли наклонившись вперед, головой разрезая ветер. На приморском бульваре уныло стояли пустые скамьи. Мы присели. Попытка настроиться себя на романтический лад при созерцании неприветливого, взлохмаченного ветрами Каспийского моря не удавалась. Надежды на то, что скамьи окажут нам гостеприимство, не было: бульвар открыт со всех сторон, и первый же блюститель порядка мог нам напомнить о порядке. Притом мы успели уже разочароваться в честности местных жителей. Пока мы созерцали Каспийское море и обдумывали свое положение, у С. Д. украли переброшенное на спинку скамьи летнее пальто и роман Мопассана «Une vie». Ловкость рук удивительная, но восхищаться ею не хотелось.

Две ночи мы провели на пристани и временами даже засыпали: вырабатывалась привычка. Иногда мучило искушение: вернуться в Москву поездом. Но впереди ждала Волга, она не простила бы отступничества.

Когда наконец подошел к пристани пароход на Астрахань, оказалось, что все места заняты. Оставались билеты четвертого класса, то есть в трюме. Приободрившись, мы поднялись по трапу. Море бушевало отчаянно: ветры хлестали со всех сторон, и пароход швыряло, как щепку. Понадобился буксир, чтобы вывести его из водоворота. Я спустилась в трюм и, устроившись между тюков и бочек с грузом, крепко заснула. Когда утром я поднялась на палубу, светило ласковое солнце; пароход плавно шел по синей гладкой прозрачной поверхности моря. С. Д. стоял у борта. У него был такой вид, как будто по его хотенью, по его уменью утихли ветры, улеглись волны. Вскоре показалась Астрахань.

Здесь нас ожидало радостное известие: вечером придет пароход, который отправится в обратный рейс на следующий же день. Зная, что пассажиры волжских пароходов обычно запасаются обратными билетами, я употребила всю энергию, чтобы получить билеты. На следующее утро у меня был в руках ключ от каюты первого класса. Итак, мы завершали свой маршрут с таким же комфортом, как и начинали. «Кутить так кутить». Мы и вправду кутили. Все неполадки, неудобства предыдущих дней казались теперь забавными; мы много видели, много узнали и поняли, впечатления роились в голове, ожидая дальнейшего осмысления.

Очутившись на пароходе, мы первым делом тщательно и с удовольствием помылись под душем. Затем позавтракали сладким арбузом. Рассчитав, что до отплытия парохода у нас остается еще три часа, решили поспать. Сон оказался крепче, чем мы ожидали: когда мы вышли на палубу, пароход уже давно отплыл далеко от Астрахани. Тяжело работая винтами и пыхтя, он усердно разгребал встречные волны. По берегам тянулись все еще зеленые, но уже чуть-чуть тронутые золотом осени леса, скошенные поля, деревушки и частые пристани. Вечерами слушали волжскую тишину.

Пять дней по реке завершили наш не совсем обычный отдых. С. Д. похваливал меня за выдержку и выносливость, а я по-детски радовалась.

Х

В сентябре тридцать второго года С. Д. удалось осуществить еще одно желание: побывать на Востоке. Служащим редакции «Гудка» полагался один бесплатный билет в любой конец Советского Союза: туда и назад. С. Д. решил познакомиться с Средней Азией и выбрал целью своего путешествия Узбекистан. Он начал изучать язык, историю и географию.

В начале сентября я отправилась с экскурсией на север, в Мурманск, он поехал в Ташкент.

О настроении и общих впечатлениях от поездки лучше всего расскажут выдержки из его двух писем.

«Поезд настроен исследовательски. Он останавливается на каждом разъезде. Но ведь и я хочу рассмотреть все поподробней и пообстоятельней.

...На каждой остановке — шумливый восточный базар, едем до следующей — опять его проглатываешь и так далее до... очевидно, до Самарканда.

...Я уже пятый день как в Самарканде. Очень любопытно. Первый день я метался, стараясь охватить все, а затем понял, что лучше не форсировать неизвестное, а брать его постепенно. Упрямо подучиваю узбекский язык.

...Живу я на экскурсбазе в одной из келий медресе Тилля-Кери. Вначале, когда я занимал келлю один, было удивительно хорошо, но после, когда ко мне стали вселять других туристов, настроение мое сильно понизилось. Но все это пустяки. В голове у меня сейчас не совсем пусто. Особенно по утрам, когда я сижу в чайхане над своей пиалой и разглядываю посетителей и проходящих.

...Впечатлений так много, что я еле успеваю их осмысливать. Не знаю, конечно, пока трудно забегать вперед, но, кажется, это путешествие принесет довольно много материала».

Использовать богатый материал, осмыслить и привести в порядок впечатления ему не скоро удалось. По приезде в Москву он сразу почувствовал себя в окружении «московских злыдней». Неприятности ждали по службе. Непрекращавшаяся компания чистки аппарата дошла наконец и до редакции «Гудка». В анкете Кржижановского в графе «происхождение» стояло: «дворянское». Ему еще при поступлении на службу советовали написать: «сын служащего», но он заупрямился. Теперь это упрямство, а может быть, и инспирированная Лебедевым-Полянским резолюция увольнения из БСЭ в трудовом списке привела к тому, что пришлось уйти из редакции. Снова захлопнулась служебная калитка и в этот раз навсегда. Одна беда вела за собой другую... В Москве, как я уже раньше говорила, началась разгрузка города, шла общая паспортизация. Для получения паспорта требовалась справка с места службы или из писательской организации. С. Д. был без службы и ни в какой писательской организации еще не состоял. Только дружеское вмешательство Никитиной, форсировавшей его вступление в группком драматургов, помогло получить необходимую справку.

Придя вечером домой, я застала записку: «Милая Наточка. Ужасно досадно, что я не могу с вами тотчас же поделиться своей усталостью+радостью. Эти два дня были для меня днями отчаянного напряжения, но у меня в кармане результат: паспорт. Завтра утром около десяти — у Вас... 8 ч. 30 м. вечера».

Впечатления от поездки в Среднюю Азию все же получили отражение в его книге «Салыр-Гюль», но только одна глава из путевых очерков попала в печать, в журнал «Тридцать дней».

XI

«Всю мою трудную жизнь я был литературным небытием, честно работавшим на бытие».

Иногда спрашивают, как могло случиться, что Кржижановский, несомненно талантливый писатель, проявивший себя в самых разнообразных жанрах, при жизни так и не увидел своей беллетристики в печати. Объяснение находят в том, что произведения Кржижановского не были актуальными, не отражали современности; к тому же у него был трудный характер.

История показывает, что трудный характер не помешал многим талантливым мастерам слова продвинуть свои работы в свет и добиться известности.

Если актуальными считать произведения, являющиеся живым откликом на текущую действительность, ответом на социальный заказ, пропагандой

насущенных идей сегодняшнего дня, то рассказы, новеллы Кржижановского актуальными назвать нельзя.

В то же время отказать им в современности было бы несправедливо и недальновидно. Современность слагается из многих пластов. Жизнь, протекающая в верхних пластах, легко поддается наблюдению и анализу. Иное дело жизнь глубинных пластов. Увидеть и понять сущность ее движения может только писатель-мыслитель. И таким писателем-мыслителем был Кржижановский.

Его отношение к революции и ее преобразованиям было сложным и подчас противоречивым. Он всецело принимал изменения в результате происшедшего в стране политического и социалистического переворота, допускал применение силы в революционной борьбе и защите ее завоеваний.

Иначе обстояло дело с переоценкой духовных ценностей и с декретизированным внедрением в сознание людей новой идеологии.

Свое мировоззрение Кржижановский выработывал в процессе длительной борьбы с самим собой. Он прошел не только через боль сердца, но и через еще более жестокую боль ума: «Мыслить — это расходиться во мнении с самим собой. Искусство думать легкое, а вот искусство додумывать труднее всего. Самый медленный процесс — процесс додумывания, до мускула, до превращения мысли в дело».

Догматизм, упрощенчество он считал величайшим злом для человеческой культуры: «Самое омерзительное на свете: мысль гения, доживающая свои дни в голове бездарности»².

Уже в юности у него наметился отход от умозрительного понимания мира и переход к практическому восприятию его. Предстоял выбор между Кантом и Шекспиром, и Кржижановский решительно и бесповоротно встал на сторону Шекспира: «Когда человек подмечает смешную сторону познания истины, он забрасывает свой философский участок и обращается к искусству, подает апелляцию на понятия суду образов».³

В дальнейшем он не отказывается от постановки философских вопросов, не отказывается от понятий, но учится искусству видеть их.

Значительная часть рассказов Кржижановского носит проблемный характер. Это персонифицированные процессы мышления, осуществляемые действующими персонажами.

Герои рассказов не наделены яркими, сложными характерами: они нужны автору как смысловые образы, ведущие игру. Но это и не схемы. Это — живые люди, мыслящие и действующие страстно, с предельным напряжением. «Эмоция в мысли,— по словам Кржижановского,— это обертон в тоне». Язык

² Записные книжки.

³ Там же.

персонажей сходен с языком самого автора, который, распределив роли партнеров, зорко следит за ходом интеллектуальной битвы. Для этой битвы не требуется описания подробностей быта: отсюда тот же лаконизм в изображении реальных условий, что и в изображении характеров. «Меня интересует не арифметика, но алгебра жизни».

В записных книжках Кржижановского есть указания на метод его работы: «Обращаться с понятиями как с образами, соотносить их как образы — вот два приема моих литературных опытов»⁴.

Излюбленные средства, которыми располагает Кржижановский: гипербола, ирония, парадокс, фантазм. «Фантастический сюжет — метод: сначала берут в долг у реальности, просят у нее позволения на фантазию, отклонение от действительности; в дальнейшем погашают долг перед кредитором — природой, сугубо реалистическим следованием фактам и точной логикой выводов»⁵.

Именно логике выводов автор придавал наибольшее значение: «Я не один. Со мной логика».

Толстой говорил, что главный герой его рассказов Правда. О Кржижановском можно сказать, что главный герой его рассказов Мысль, живая человеческая мысль, прародительница всей материальной и духовной культуры, мысль оживающая, падающая, поднимающаяся, колеблющаяся, но всегда обращенная к свету, как стрелка магнита, всегда обращенная к северу.

В защиту мысли Кржижановский вел свою трудную битву, в защиту прав каждого человека на мышление, на образование своего мировоззрения. Именно потому, что он был рыцарем Мысли, его произведения были современны, современны сейчас и останутся современными еще на долгие годы.

Творчество Кржижановского сложно, многотемно, многогранно. Те несколько замечаний, которые я высказала на этих страницах, ни в коей мере не раскрывают его богатства. Оставленное им большое наследство еще ждет своего вдумчивого и серьезного исследователя.

XII

Прошло десять лет со времени переезда Кржижановского в Москву. За эти годы им были написаны десятки рассказов, новелл. Из-под его пера вышли такие произведения, как: «Возвращение Мюнхгаузена», «Клуб убийц букв», «Чужая тема», «Швь», а литературная жизнь его все еще была неустроенной,

⁴ Записные книжки.

⁵ Там же.

и он мог с горькой иронией внести в записную книжку: «Я известен своей неизвестностью».

Он продолжал читать в узком кругу друзей новые рассказы, в голове его теснилась целая уйма новых тем, которые он гнал: «Местов нет», он диктовал упрямо и уверенно, но в редакциях издательств появлялся теперь лишь изредка.

Как-то он прочел Всеволоду Вишневскому рассказ «Разговор двух разговоров». Вишневский со свойственным ему темпераментом набросился на него: «Идти надо в издательства. Надо кричать, стучать по столу кулаком». И он даже показал, как надо стучать. Кржижановский молчал: для него это был уже пройденный этап. Спорить, защищать в редакции свои произведения он никогда не умел.

Материальные дела его были из рук вон плохи, настроение подавленное. «Вероятно, от какого-нибудь неловкого психического движения я вывихнулся из себя, и теперь все меня как-то раздражает... Притом, вместо того, чтобы реагировать вовне, разряжаться, я реагирую вовнутрь, то есть отравляю себя совершенно недостойным мыслящего человека вздором»⁶.

И снова в эти трудные дни безденежья и застоя к нему протянулась дружеская рука. На этот раз то была рука умного, честного, милого Левидова. Это он, Левидов, внушил Кржижановскому, что нужно работать широким фронтом: не здесь, так там добьешься хотя бы малого, но чего-то. Это Левидов заставил Кржижановского взяться за изучение Шекспира. Это он поддержал его морально и материально в дни работы над комедией «Поп и поручик».

Жизнелюбивый, подвижный, сверкающий остроумием, всегда оптимистически воспринимающий действительность, он хорошо действовал на своего подопечного. С. Д. писал мне: «Левидов с необычайным тактом и заботливостью, почти как нянька, хлопочет около меня. Раз в 2—3 дня я по его настоянию захожу к нему, и он всегда находит слова ободрения, и когда даже говорит о постороннем, то так, что я ухожу повеселевшим и успокоенным...»

Когда счастье улыбалось Кржижановскому, Левидов ходил как именинник и повторял: «А, я говорил...»

Предполагалась небольшая, на полчаса, передача по радио о творчестве Шекспира; Левидов, согласовавшись с представителями от радио, поручил С. Д. написать очерк. Случилось то, что весьма характерно для творческой практики Кржижановского. Он написал очерк не столько по заданию радио, сколько по внутренней потребности высказаться о том, что в Шекспире было интересно и дорого лично ему. Передача не состоялась, но Левидов заставил автора переделать очерк в статью, отдал ее в редакцию журнала «Литератур-

⁶ Из письма.

ный критик». Так появились в этом журнале «Шаги Фальстафа», «Контуры шекспировской комедии» и другие работы. С. Д. написал двенадцать работ на шекспировские темы и, сам того не замечая, превратился в шекспироведа. Не было ни одной шекспировской конференции, на которой Кржижановский не выступил бы с новым докладом, освещающим новые участки в творчестве великого драматурга.

Контакт с «Литературным критиком» продолжался вплоть до закрытия этого журнала. Из библиотек, по распоряжению свыше, а может быть, и «страха ради», были изъяты из обращения все номера журнала. Когда в пятьдесят седьмом году мне во время работы над архивом понадобилось обратиться в Ленинскую библиотеку с требованием необходимого номера, пришлось получить специальное разрешение.

Работа над комедией «Поп и поручик» проходила легко и весело. Положенная в ее основу ситуация давала возможность включить в сюжет ряд веселых остроумных комедийных конфликтов. Император Павел I, недовольный поведением некоего поручика и некоего попа, дал приказ: быть поручику попом, а попу поручиком.

Левидов посоветовал С. Д. переработать пьесу в музыкальную комедию, показал ее режиссеру московской оперетты Покровскому. Комедия понравилась. Музыка заказали Сергею Никифоровичу Василенко.

Чтение комедии в Союзе писателей имело шумный успех. О пьесе стало известно руководителю Вахтанговского театра Рубену Николаевичу Симонову. Познакомившись с комедией, Симонов заявил, что пьеса написана математически точно, из нее нельзя выбросить ни одного слова и он ее не выпустит из рук: это как раз то, что ему нужно. Состоялось новое чтение в студии Вахтанговского театра. Присутствовал весь коллектив, в том числе художник и музыканты. Хотя успех был заранее подготовлен, но он превзошел все ожидания. Говорили, что стихи и проза на одном уровне и что каждая самая маленькая роль индивидуализирована и есть роль. Но... деловая сторона откладывалась. В Ленинграде Акимов выразил желание ставить комедию. Композитор Анатолий Константинович Буцкий решил, используя сюжет в драматическом плане, написать оперу. Со свойственной его характеру точностью он даже ездил на могилу Нелидовой.

Поступили требования на комедию от пяти провинциальных театров, в том числе и от харьковского. А с заключением договора дело затягивалось.

Пока столичные и провинциальные театры оспаривали право первой постановки, Кржижановский получил из Союзкино предложение ознакомиться со сценарием мультипликационного фильма «Новый Гулливер» и изменить его по форме и содержанию.

В течение трех дней Кржижановский придумал два варианта «Гулливера» и изложил их в Союзкино. Режиссеры сидели с раскрытыми ртами, признали, что он распрямил тему во весь ее рост, что это перекрывает их сценарий, но так как старый сценарий уже в производстве, типажи и декорации уже готовы, то придется вернуться к первоначальному сценарию, углубляя и уточняя его новыми образами и словостроем.

«Я еле удержался,— писал мне С. Д.,— чтобы не сказать, что за тему о Гулливере не следовало братья лилипутам, но что-то дерзкое сказал. А после этого смирился и принял трудные предложения».

В дальнейшем режиссерам не хотелось признавать авторства Кржижановского, но к старому варианту вернуться тоже нельзя было. А С. Д. смеялся: «Все-таки я их отравил».

Работая над «Гулливером», он попутно предложил свою оригинальную тему «Машина времени», она понравилась, и с одобрения Союзкино он написал сценарий. Но заключать договор в Союзкино не торопились. Автор понял, что пробиться с самостоятельным, оригинальным сценарием на экран кино так же трудно, как попасть из редакций издательства в печать.

Деньги, полученные за «Гулливера», вывели его из материального тупика и дали возможность провести летний отдых на юге. В это лето он жил в Одессе на Большом Фонтане в семье моей матери и сестры.

Большой Фонтан издавна был любимым местом многих писателей. Здесь отдыхали Бунин, Куприн, Олеша, Вишневский, Ольга Форш, Гроссман, Щепкина-Куперник. Здесь проводил лето Всеволод Мейерхольд с женой Зинаидой Райх. На большой, обращенной к морю террасе соседнего с нами дома писателя А. М. Федорова проводились литературные чтения. Тут читал Бунин своего «Господина из Сан-Франциско», читала свои ранние прелестные стихи Вера Инбер. Именно это место Большого Фонтана так поэтически описал Паустовский в своей повести «Годы больших ожиданий».

Дом, в котором мы теперь жили, стоял на высоком обрыве у самого моря. Ритмичный шум прибоя, морской воздух и дружеские, полные уважения отношения всех членов семьи к Сигизмунду Доминиковичу создавали хорошие условия для лечения нервов и общей поправки здоровья. Он жил надеждой на художественный и материальный успех «Попа и поручика» — эту настоящую козырную карту. Отдыхал, как обычно, работая над небольшими новеллами и очерком об Одессе «Хорошее море»...

Через два года в том же приветливом доме происходило нечто иное. Мы с С. Д. сидели вечером на террасе. У нас в гостях был Юрий Карлович Олеша с женой Ольгой Густавовной. Писатели только что познакомились; завязалась беседа на волнующие литературные темы. Неожиданно на террасу вошел незнакомый мне человек. Извинившись, он объяснил, что приехал

к Юрию Карловичу поговорить с ним о деле, и вдруг сказал: «Арестован Бабель». Беседа оборвалась. Помолчав несколько минут, гости ушли к Олеше; мы с С. Д. остались с только что услышанной новостью. Бабель — талантливый писатель, умный, хороший человек. Новая жертва ежовщины, страшной власти, уничтожавшей тысячи невинных людей, жертва времени, по жестокости не имеющего себе равного во всей истории России.

В 1937 году были арестованы и мужья обеих моих сестер...

Возвращение в Москву не оправдало надежд, не принесло радости. Театры, оспаривавшие право первой постановки «Попа и поручика», вдруг замолчали; переговоры и связи прекратились. Трудно было понять, что, собственно, произошло. Самолюбие мешало Кржижановскому расспрашивать о причине краха. Вывод был ясен: проникнуть на сценическую площадку так же трудно, как попасть на экран кино или в печать. В правильности этого вывода он окончательно утвердился, когда выяснилось, что постановку «Евгения Онегина» в Камерном театре, как я уже раньше рассказывала, тоже постиг крах.

«Самсон не боролся со своей мельницей. Он отращивал свои волосы, а может быть, и то, что под ними: мысль».

Кржижановский продолжал писать. Он не мог не писать, также как пчела не может не откладывать мед, даже если убраны соты. Это были новые новеллы, которые он предполагал объединить в сборник «Чем люди мертвы». Работа была для него опасением. Он жил уединенно, избегая встреч с людьми и не заводя новых знакомств. Правда, одно неожиданное знакомство-встреча внесло тепло в его жизнь, но и то быстро рассеялось. С. Д. продолжал еще встречаться с Василенко: они вместе подготавливали монтаж «Попа и поручика» для радио. Кржижановский приехал однажды во Влахернское. Василенко угостил его великолепным со льдом квасом и гениальным с пылу с жару Филатовым. Сперва Владимир Петрович косился на С. Д., говорил как сквозь стену, но не то третий, не то четвертый парадокс заставил его распахнуть дверь.

Кончилось тем, что Филатов увел его в свою комнату, читал свои стихи, робко и взволнованно, как ученик, взяв с него слово, что он еще приедет и вообще они будут видеться. Но даже это знакомство Кржижановский не закрепил. Встречи с людьми были для него болезненны. Он чувствовал себя проигравшим игроком, неудачником, стыдился своей роли, но в то же время не переставал верить в свои творческие возможности и полезность своей работы. Особенно тягостно ему было общество писателей.

Ланны устроили ему бесплатную двенадцатидневную путевку в Дом отдыха писателей в Голицыне. Кржижановский отказался ехать, но в конце концов уступил настоянию товарища. На десятый день он сбежал. У него была хорошая комната, все удобства для работы, но моральная обстановка оказа-

лась тягостной: «Мне об этом не говорят, — жаловался он, — но ощущают меня как некий призрак, привидение от литературы. Причем ничуть не страшное. Я являюсь к чаю, ужинаю, затем рассеиваюсь за дверью комнаты № 8».

Ни явь, ни сон не давали ему покоя, алкоголь стал для него необходимостью. Когда его спрашивали, что привело его к вину, он говорил, отшучиваясь: «Трезвое отношение к действительности».

И все же он продолжал писать. В тридцать девятом году он закончил пьесу «Тот, третий». Первоначально тема была задумана как роман. С. Д. хотел найти возможные литературные решения незаконченной повести Пушкина «Египетские ночи». Почему «Тот, третий» имени векам не передал. Постепенно его стала неотступно увлекать тема сыска, преследования и бегства. В пьесе обе темы переплелись: литературная и философская. Заканчивался и цикл рассказов о Западе.

Евгений Германович Лундберг, познакомившись на курорте с редактором «Советского писателя» Граником, охарактеризовал ему Кржижановского как оригинального талантливое писателя и передал ему сборник «Рассказы о Западе». Сборник безоговорочно был принят Граником к печати, отредактирован Митрофановым и уже поступил в набор. Теперь наконец-то Кржижановский будет держать в руках свою книгу, рассказы выйдут в свет и встретятся с читателем. Это была, несомненно, крупная козырная карта... Но в июне 1941 года радио сообщило советским гражданам о том, что фашистские полчища ворвались на территорию нашей страны. Война... Рушились все планы всех учреждений, в том числе и «Советского писателя». Карта бита.

XIII

Война... Москву трудно узнать. На стеклах окон белые перекрещенные бумажные полосы, у магазинов мешки с песком, на улицах надолбы. На лицах прохожих серьезность, сосредоточенная озабоченность. Оставалась едва четвертая часть населения: немцы быстро приближались к Москве, и жители торопливо покидали город. По вечерам бомбежка: людские жертвы, разрушенные дома.

Арестован Левидов — самый верный, терпеливый и добрый друг, Левидов, твердо веривший в мощь русского духа и неизбежность нашей победы.

Знакомые и друзья один за другим уезжали на Восток: за Волгу, в Сибирь.

Кржижановский решил остаться в Москве. На недоуменные вопросы отъезжающих он отвечал: «Писатель должен оставаться там, где его тема».

Еще за год до начала войны Сценарная мастерская Большого театра поручила ему сценарий оперы «Суворов». Музыка писал Василенко. Эвакуиру-

ясь в Куйбышев всем составом, Большой театр переуступил оперу остававшемуся в Москве театру имени Станиславского. Кржижановский решил остаться, чтобы держать связь с уехавшим в Ташкент композитором Василенко, наблюдать за ходом репетиций и вносить по мере надобности в текст оперы необходимые поправки и дополнения.

Я тоже осталась в Москве. Городской дом пионеров, где я вела работу по художественному слову, не эвакуировался. Школы были закрыты, и Дом был единственным местом, куда оставшиеся в Москве ребята могли приходить отдыхать и заниматься. Мы составили детскую концертную бригаду, которая обслуживала госпитали и Вторую военную дорогу.

Начались репетиции «Суворова». Главную роль исполнял Панчехин — певец с небольшим голосом, но с хорошими драматическими данными. Он удачно справлялся с вокальной стороной своей партии и очень интересно намечал образ Суворова. Участникам спектакля нравились роли и музыка, они репетировали с подлинным увлечением.

В феврале месяце состоялась премьера. Опасались, что бомбежка помешает спектаклю, не удастся довести его до конца, но все шло великолепно. Театр был переполнен военными: командирами и бойцами.

Многие сцены, особенно народные, принимались бурными аплодисментами. Только после окончания спектакля, когда слушатели покинули гардероб, начался обстрел города. Небо мгновенно осветилось ищущими лучами прожекторов, затрещали наши зенитки. Бомбежка продолжалась недолго, налетевшие «мессершмитты» скрылись.

Когда мы с С. Д. пересекали улицу Горького, небо было снова чистым и ясным. Звезды сверкали так ярко, как они обычно светят в морозную зимнюю ночь. Под ногами скрипел снег, отливая голубоватыми искрами.

Мы шли молча, без слов читали мысли друг друга. Война охватила полмира, льется людская кровь, у каждого из нас есть близкие на фронте, и смерть каждую минуту может поразить их... но есть и высшая правда, высшая справедливость, и сегодня за нее надо биться. Мы, как могли, как умели, включились в эту битву. Мы впервые чувствовали себя неотъемлемой частью своего народа, сражающегося за родину, за человечество. Оттого на душе и торжественно, и светло.

Это и есть оптимистическая трагедия.

Мы прошли под большой аркой, ведущей в Леонтьевский переулок. У ворот дома номер шесть, где я сейчас жила у сестры, простились до завтра.

«Суворов» шел все годы войны, собирая полный зал. Для обслуживания воинских частей в городе и на фронте была организована суворовская бригада из исполнителей оперных партий. Став членом бригады, С. Д. читал бойцам отрывки, сцены из «Суворова», а иногда и из «Попа и поручика».

Годы войны были временем подъема творческих сил Кржижановского. Он чувствовал себя подлинным гражданином родины и со всей щедростью отдавал свои уже немолодые силы там, где они оказывались нужными.

В первый же год войны он написал пьесу на тему осады Севастополя «Корабельная слободка», либретто новой оперы «Фрегат „Победа“» о первом русском флоте, построенном Петром I.

Видя его крайне истощенным и утомленным, я не советовала ему браться за либретто «Фрегат „Победа“», тем более что «Корабельная слободка» не принесла ему денег, а сил отняла много.

Но он упрямо писал: это было его внутренней потребностью. Когда ему удалось получить деньги за «Фрегат „Победу“», он явился ко мне, торжествуя преподнеся некую «эпистола»:

Анне Бовшек
от
Фрегата «Победа»

Э п и с т о л а

Мингер Аннушка,

мольбено Тобюю измыслителю моему пииту Сигизмундусу: «Фрегат „Победа“ не даст вам ни копейки».

Сидцево слово вымпелу моему — пляма, а имени чистому, яко скло,— дисгнорация.

Вот ТЕ копейка, а вот ТЕ и еще оных 99,999, дабы нас впредь с пиитом не осуждала...

Мой салют

всем бортом.

Мал-утл-фрегатец «Победа»

Януария 22-го 1942

Порт

В дни войны Кржижановский снова обращался к фольклору, писал тексты песен на военные темы, статьи «Русский солдат в мире сказок», «Об афишах Ростопчина», «Смекалка на войне».

Большим радостным событием для него были две командировки от ВТО. Первая в Иркутск, Новосибирск и Улан-Удэ. Ему предстояло ознакомиться с репертуаром и постановками местных театров, провести ряд бесед и докладов. С особенным вниманием надо было отнестись к постановке пьесы Корнейчука «Фронт», так как содержание ее некоторыми режиссерами трактовалось неправильно.

С. Д. впервые видел Сибирь. У него было мало времени для серьезного ознакомления с этим краем, но и то небольшое, что он успел увидеть, давало материал для осмысления.

В Иркутске он встретился с Сергеем Дмитриевичем Мстиславским, своим старшим другом, советчиком и свидетелем первых литературных опытов. Встреча оставила грустный осадок. Сергей Дмитриевич тяжело болел, чувствовалось, что друзья видятся в последний раз.

Вернулся в Москву Кржижановский, до краев полный впечатлений от сибирских городов, людей, от дорожных встреч, бесед, разговоров. Поезда почти сплошь были переполнены военными, направляющимися на фронт или возвращающимися в отпуск.

Бледный, совершенно исхудавший, он походил теперь на того Кржижановского, с которым я впервые встретилась в Киеве. Только волосы стали совсем седыми, скорбные складки у рта прорезались резче, и глаза еще потеплели. Таким добрым, светлым я видела его в редкие минуты жизни.

Вторую командировку ВТО в Осетию и Дагестан он выполнил уже в конце войны.

Наступило 9 мая — праздник Победы. День выдался теплый, ясный. С утра улицы города полны народа. Красная площадь гудит веселым гулом. Люди обнимаются, плачут, смеются.

Вечером мы с С. Д. пришли к реке у Девичьего монастыря. Здесь было тихо. Только серебристая сетка от множества причудливо переплетавшихся в небе лучей прожекторов напоминала о все еще дпящемся празднике.

Древняя река у стен монастыря текла мирно, спокойно, как и раньше: десять, двадцать, сто, тысячу лет назад. Но мне казалось, что и река, и стены монастыря, и самый город те же и все же не те: они узнали что-то иное, что узнала и я.

XIV

Война нанесла стране глубокие раны. Всюду оставались следы глубоких разрушений, и народ, охваченный общим подъемом, принялся за трудное дело восстановления. Все ждали радостно и уверенно изменений во внутренней жизни страны, но изменений не происходило. Все вернулось к прежнему состоянию. Прокатилась новая война арестов; на этот раз жертвами ее стали пленные, возвращавшиеся из фашистских лагерей. Настроение общего подъема начало постепенно падать.

Из эвакуации стали возвращаться друзья и знакомые. Сигизмунд Доминикович встречал их обессиленный и полубольной. Он по-прежнему читал лекции студентам школы Камерного театра, вернувшегося из эвакуации, но теперь в них не было прежнего блеска. Своих оригинальных вещей он не писал. Попытка продвинуть в печать последнюю работу — очерк «Раненая Москва» — оказалась, как всегда, неудачной. Хуже было то, что работой был недоволен сам автор.

Внимание общественности теперь привлекала новая Польша, ее культурная жизнь, ее искусство. Кржижановский, владевший польским языком, по-

лучил несколько заказов. Он переводил Юлиана Тувима, Жеромского, Мицкевича, подготовил сборник рассказов польских классиков, написал монографию «А. Фредро».

Он жил теперь, мало общаясь с людьми. Друзья посещали его все реже. Усилились приступы гипертонии, развивалось малокровие. Он окончательно переехал ко мне на квартиру.

В его записных книжках появляются строки: «1. О жизни думать уже поздно, пора обдумывать свою гибель. 2. Жизнь допета и допита. 3. Близится станция назначения — Смерть. Пора укладывать мысли. 4. Надо сдать свою жизнь, как часовой сдает свой пост».

Первого мая выдался редкий для Москвы теплый ясный день. В окно было видно: чистое голубое небо, прохожие в легких платьях и летних пальто.

Кржижановский сидел в глубоком кресле у стола, просматривая журналы, я читала, устроившись на диване. Неожиданно, почувствовав толчок в сердце, я подняла глаза: он сидел с бледным, застывшим, испуганным лицом, откинув голову на спинку кресла. «Что с вами?» — «Не понимаю... ничего не могу прочесть... черный ворон... черный ворон».

Ясно было: случилось нечто непоправимое, и надо что-то немедленно предпринять. Устроив его на диване, я сказала, что выйду на несколько минут за покупками к обеду. Очутившись на улице, я быстро направилась к ближайшей психиатрической больнице, надеясь найти там дежурного врача и уговорить прийти к больному. Дойдя по Плющихе до поворота к скверу Девичьего поля, я столкнулась с двигавшимся прямо на меня трамваем. В вагоне не было никого, кроме водителя. Вверху надпись: «Ваганьковское кладбище». Никогда по этой трассе не проходили трамваи на кладбище — и почему пустой? Я в ужасе остановилась, следя за удаляющейся надписью. Только когда вагон исчез, пришла в себя. Никакой мистики. Вагон пустой, потому что идет из Артамоновского парка. Сегодня Первое мая, в этот день на кладбище много народу, для обслуживания назначен специальный рейс.

В больнице я никого не застала, она оказалась на ремонте. Зайдя в телефонную будку, я позвонила Лундбергу и, рассказав в чем дело, попросила вызвать из литфондовской поликлиники врача.

Врач констатировал спазмы в мозгу: парализовался участок памяти, хранивший алфавит. Больной мог писать, но не мог прочесть написанного и вообще не мог читать. Это был сокрушительный удар. Чтение было для него единственной радостью, чтение было и насущной необходимостью. Перед ним лежала рукопись только что переведенного пятого тома Мицкевича, дожидаясь правки, а он не мог прочесть ни одного слова. Лечение требовало терпения и покоя.

Прошло два месяца, а состояние не улучшалось.

О санатории писателей он не хотел и думать. Да у нас и денег не было на санаторию. Навестившие его Арго и Ланн выхлопотали некоторую сумму денег в Литфонде на лечение. Я купила две путевки в Плес в Дом отдыха ВТО, надеясь на то, что Волга, волжская тишина и чистый воздух помогут преодолеть болезнь.

В Плесе С. Д. в окружении бездумных, беззаботно отдыхающих людей чувствовал себя неловко. Он дичился знакомых и незнакомых, прятал свою болезнь, боясь обнаружить свою неполноценность, рвался обратно в Москву. Мы уехали, не дождавшись конца путевки.

Покой и лечение были не в его натуре. Он нетерпеливо ждал восстановления памяти, а она не прояснялась. Он купил алфавит, набросился на него, стараясь овладеть буквами, но буквы не возвращались.

В конце октября произошло кровоизлияние в мозг. Оно привело к катастрофе.

В минуту просветления я спросила его: «Хотите ли вы жить?» Он ответил: «Не знаю. Скорей нет, чем да.— Потом тихо прибавил: — Если б это не было так пошло, я бы сказал, что душа у меня надорвалась».

Женщина врач-психиатр из поликлиники, желая установить картину болезни, задала ему несколько вопросов. Он отвечал неохотно и нескладно. Женщина знала, что находится у постели писателя. Она спросила: «Любите ли вы Пушкина?» — «Я... я... Пушкина». Он заплакал беспомощно, всхлипывая по-детски, не удерживая и не стыдясь слез. Никогда раньше не видела я его плачущим.

28 декабря около четырех часов дня он скончался. Кржижановский сдал свою жизнь, как часовой сдает свой пост. Он работал до самого того дня, когда болезнь поразила его мозг. И не его вина, что всю свою трудную жизнь он был литературным небытием, честно работавшим на бытие.

1965

Опубликовано в:

Кржижановский С. Д. Возвращение Мюнхгаузена. — М., 1990. — С. 465–528.